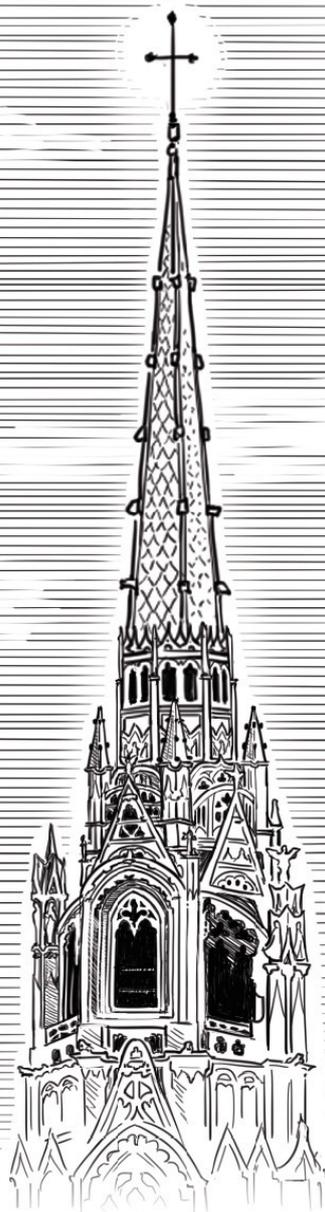


Librarium

ЖОРИС-КАРА ГЮИСМАНС

В ПУТИ



РИПОЛ КЛАССИК

Librarium

Жорис-Карл Гюисманс

В пути

«РИПОЛ Классик»

1895

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)5-44

Гюисманс Ж.

В пути / Ж. Гюисманс — «РИПОЛ Классик», 1895 — (Librarium)

ISBN 978-5-386-14512-5

Ж.-К. Гюисманс опубликовал роман «В пути» («На пути») в 1895 году, будучи уже всемирно известным писателем и художественным критиком. Это продолжение, вторая часть в «католической трилогии» о писателе и журналисте Дюртале, прототипом которого стал сам Гюисманс. «В пути» начинается со слов Святого Бонавентуры. Эпиграф дает понять, что Дюрталь будет искать истину не среди сатанистов (как в первой части – «Там, внизу, или Бездна»), а в монастыре: «Бегите во грады прибежища, где вы сможете покаяться в грехах прошлого, жить в благодати в настоящем и с верою смотреть в будущее». Но несмотря на описание попыток праведной жизни героя, роман вызвал неприязнь католической церкви и был осужден за непристойность. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1

ББК 84(4Фра)5-44

ISBN 978-5-386-14512-5

© Гюисманс Ж., 1895

© РИПОЛ Классик, 1895

Содержание

Часть первая	8
I	8
II	17
III	27
IV	33
V	41
VI	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Жорис-Карл Гюисманс

В пути

Joris-Karl Huysmans
En Route

© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»,
2021

* * *

«Convolute ad urbes refugii, ad loca videlicet religiosa, ubi possitis de praeteritis agere poenitentiam, in praesenti obtinere gratiara et fiducialiter futuram gloriam praestolari»¹.

Св. Бонавентура «О презрении мира»

Я не люблю ни вступлений, ни предисловий и, по мере возможности, избегаю опережать мои книги бесполезными речами.

Но имеется достаточно веская причина, нечто вроде законной самообороны, которая побуждает меня предпослать новому изданию «В пути» эти несколько строк.

Причина эта следующая.

Со времени выхода в свет этого тома переписка моя, и без того уже сильно разросшаяся, благодаря обмену мыслей, вызванному книгой «Бездна», достигла таких размеров, что я увидел себя вынужденным или перестать отвечать на получаемые мною письма или же совершенно отказаться от всякой работы.

Я не могу посвятить себя удовлетворению притязаний людей, незнакомых мне, в жизни которых, конечно, больше досуга, чем в моей, и потому решил пренебречь просьбами об указаниях, внушенными чтением «В пути». Но я не смог сохранить молчание, которое могло бы показаться оскорбительным.

Можно разделить на два рода посылаемые мне письма.

Первый исходит от простых любопытных. Под предлогом, что их занимает моя личность, они хотят узнать кучу вещей, которые их совершенно не касаются, притязают на вторжение в мой внутренний мир, хотят, как на площади, прогуливаться в моей душе.

Без колебаний сжигаю я такие послания, и вопрос этим исчерпан. Не то с письмами второго разряда.

Их гораздо больше, и пишут их люди, которых мучительно коснулась высшая благодать, изнемогающие в борьбе с самими собой, одновременно и призывающие и отталкивающие обращение. Часты также писания скорбных матерей, взывающих к предстательству иноческой молитвы за детей своих, болеющих или ведущих непотребную жизнь, и все просят меня откровенно сообщить им: существует ли аббатство, описанное мною в этой книге, и если да, то ввести их с ним в сношения. Все домогаются моего содействия, чтобы заступился за них своей могучею молитвой брат Симеон, конечно, если он не вымышлен мною и если действительно он – как я описал его – святой.

В таких случаях я оказываюсь побежденным. У меня не хватает смелости отклонить эти просьбы, и я кончаю обычно писанием двух писем – автору послания и в монастырь. Иногда пишу более пространно, когда необходимо яснее остановиться на затронутых вопросах, дать

¹ Бегите во грады прибежища, где вы сможете покаяться в грехах прошлого, жить в благодати в настоящем и с верою смотреть в будущее (*лат.*).

более обширные указания. И, повторяю, меня угнетает эта роль усердного посредника между мирянами и монахами, которая служит мне неумолимой помехой для работы.

Что сделать, чтобы удовлетворить других и не слишком обидеть самого себя? Я не нашел иного средства, как только ответить этим доблестным людям раз и навсегда, всем сразу.

В общем вопросы, обычно мне предлагаемые, сводятся к следующему:

«Тщетно искали мы в перечне траппистских монастырей обитель Нотр-Дам-де-Артр. Ее не найти ни в одном монастырском ежегоднике. Вымышлена она вами?» И затем: «Выдуман ли образ брата Симеона, или если вы писали его с живого человека, то не превознесли ли вы его сверх меры, канонизировали, так сказать, в целях вашей книги?»

Теперь, когда улегся шум, поднятый появлением «В пути», я полагаю, что могу превратить молчание, которое я хранил всегда о той обители, где жил Дюрталь. Итак, я объявляю: Траппистский монастырь Нотр-Дам-де-Артр называется в действительности монастырем Нотр-Дам-де-Сен-Иньи и расположен возле Фим в департаменте Марны.

Я дал подлинное описание его, и сообщаемые мной картины монастырской жизни воспроизводят действительность. С живых лиц нарисовал я образы монахов, из благопристойности переменив лишь имена.

Добавлю еще, что летопись Нотр-Дам-де-Артр, рассказанная мною в этой книге, вполне согласуется с Иньской.

Да, это ее основал в 1127 году святой Бернар, после чего во главе ее стояли истинные святые, каковы Блаженные Бумберт и Геррик, мощи которых хранятся в раке под главным алтарем, и необычайный Монокулус, которого почитал Людовик VII.

Подобно всем сестрам своим, обитель прозябала при господстве Комменды, умерла во время революции, воскресла в 1875 году.

Заботами реймского кардинала-архиепископа кучка цистерцианцев направилась, чтоб вновь заселить древнее аббатство святого Бернара и восстановить нити молитв, оборванные гонением.

Что касается брата Симеона, то я написал с него портрет точный и подлинный, не приукрашивал, не подправлял. Я никоим образом не превознес его, не возвеличил и не следовал, как на это, по-видимому, намекают, никакой предвзятой цели. Я нарисовал его по методу натуралистов таким, каков он в действительности, этот доблестный святой!

И я вспоминаю этого кроткого, благочестивого человека, которого я видел всего несколько дней тому назад. Он теперь так постарел, что уже не может ходить за своими сви-ньями. Его ставят чистить овощи на кухне, но отец настоятель иногда позволяет ему навещать прежних своих питомцев. И они не неблагодарны, нет, они бросаются с радостным хрюканьем, когда он приближается к хлевам.

А он, усмехнувшись своей безмятежной улыбкой, ласково ворчит с ними несколько минут и уходит, чтобы снова погрузиться в благостное безмолвие обители. А когда старшие разрешают его на миг от обета молчания, избранник этот дарует нам краткие наставления.

Расскажу, например, такое.

Однажды, когда отец настоятель приказал ему помолиться за больного, он ответил:

– Так как молитвы, исполненные по послушанию, обладают большей силой, чем другие, то прошу вас, высокочтимый отец, укажите мне молитвы, которые я должен произнести.

– Прочтите три раза «Pater»² и три «Ave»³, брат мой.

Старец покачал головой и, на вопрос слегка удивленного настоятеля, признался в своем сомнении: – «Довольно одного Pater» и одного «Ave», сказанных с рачением; говорить больше, значит обнаружить недостаточное упование».

² Отче наш (лат.).

³ Богородице Дево, радуйся... (лат.)

Инок этот не есть исключение, как могло бы показаться. Подобные ему встречаются во всех траппистских обителях, равно как и в других орденах. Я лично знаю еще одного монаха, который переносит меня, когда мне удастся встретиться с ним, во времена святого Франциска Ассизского. Он живет, охваченный пламенным восторгом, и точно венцом украшена глава его ореолом птиц.

Ласточки прилетают и гнездятся над его одром, в занимаемой им келье привратника. Радостно выются они вокруг него, и птенцы, которые учатся летать, опускаются на голову его, плечи, руки, а он неизменно улыбается и творит молитву.

Очевидно, эти животные чувствуют святость, любящую и охраняющую их, ту непорочность, которой мы, люди, уже не постигаем. Вполне понятно, что невероятными кажутся брат Симеон и этот брат привратник в наш век ученого невежества и пошлых мыслей. Для одних они идиоты, для других – безумцы. И ускользает от людей величие этих изумительных отшельников, таких воистину смиренных, таких неподдельно бесхитростных.

Они напоминают нам о Средних веках, и это счастье. Необходимо существование подобных душ, чтобы уравновесить наши. Это божественные оазисы здесь, на земле блаженные убежища, где пребывает Господь, тщетно исходивший пустыню людскую.

Не в обиду будет сказано писателям, образы эти столь же истинны, как и те, что очерчены в моих предыдущих книгах. Они обитают в мире, неведомом непосвященным, только и всего. Я ничуть не преувеличивал, описывая в этой книге неслыханную силу молитв, которую располагают эти иноки.

Надеюсь, что точность моих ответов удовлетворит лиц, вступивших со мною в переписку. Во всяком случае, не оскорбляя милосердия, я могу считать оконченной свою роль посредника, так как теперь известны имя и адрес моего траппистского монастыря.

Мне остается лишь извиниться пред дом Августином, высокочтимым настоятелем траппистского монастыря Нотр-Дам-де-Сен-Иньи, что этим я раскрываю псевдоним, под которым изобразил в прошлом году в печати его обитель.

Я знаю, что он ненавидит шум и желает, чтобы не выставляли напоказ ни его, ни братию его. Но я знаю также, что он искренно любит меня и простит мне, когда подумает, что нескромность эта может принести пользу многим страждущим душам, а мне, в то же время, даст возможность спокойно работать в Париже.

Август, 1896

Часть первая

I

Протекала первая неделя ноября, неделя, когда творится поминовение усопших. Дюрталь вошел в восемь часов вечера в храм Сен-Сюльпис. Он охотно посещал эту церковь, в ней был прекрасный хор, и вдали от многолюдства толпы он мог сосредоточиться здесь в тишине. Не пугал с наступлением ночи корабль храма, замкнутый давящими сводами. Пусты часто бывали боковые нефы, и тускло светили немногие лампы. Здесь можно было, оставаясь невидимым, испытывать свою душу, чувствуя себя точно дома.

Дюрталь сел слева позади главного алтаря под галереей, идущей вдоль улицы Сен-Сюльпис. Замерцали отблески зажигаемых на хорах свечей. Вдали священник говорил с кафедры в пустынной церкви. По его сочному голосу, елейному произношению он угадал в нем священнослужителя хорошо упитанного, бросающего слушателям привычные, затверженные пошлости.

«Почему они лишены до такой степени красноречия? – думал Дюрталь. – Из любопытства я слушал многих, и все они стоят друг друга. Они различаются лишь звуками голоса. В зависимости от темперамента одни омывают речь свою вином, другие умащают елеем, и никогда не слышал я искусного смешения». Он вспоминал ораторов, избалованных, точно тенора, Монсабре, Дидона, настоящих Кокленов церкви и, наконец, аббата Гюльста, воинственного оратора еще ничтожнее, чем эти питомцы консерватории католицизма!

Остальные – посредственности, превозносимые горсточкой верующих, которая слушает их. Если бы обладали дарованием эти харчевники душ и подносили своим столовникам яства изысканные, выжимку теологии, утонченные сиропы молитв, ощутимые сладости мыслей, они прозябали бы не понятыми своей паствой. Необходимо духовенство, стоящее на одном уровне с верующими, и бдительно позаботилось, конечно, об этом Провидение.

Стук башмаков, шум отодвигаемых стульев, со скрипом царапавших плиты пола, прервали его думы. Проповедь кончилась.

Среди безмолвия прозвучала прелюдия органа, потом замерла, подхваченная тающими волнами голосов.

Воздымалось песнопение медленное, унылое – «*De profundis*»⁴.

Потоки голосов струились под сводами, сливаясь с мягкими тонами гармонии, и их прозрачные оттенки напоминали звук разбиваемого хрусталя.

Поддержанные непрерывным рокотом органа, подкрепленные басами, столь гулкими, что казалось они самопроизвольно возносятся из-под земли, они растекались, скандируя стих «*De profundis clamavi ad te Do...*»⁵, затем, исчерпав себя, остановились, и точно тяжелую слезу уронили последний слог «*mine*». Воплотились потом во втором стихе псалма «*Domine exaudi vocem meam*»⁶ неустановившиеся отроческие голоса, и снова повисла вторая половина последнего слова. Не оторвалась на этот раз, не упала, не скатилась на землю точно капля, но устремилась в необычном усилии и, уносясь ввысь, поднялась к небесам воплем страха, объявшего исторгнутую из плоти душу, которая нагою в слезах повергнута пред Господом.

Мощно загудел после паузы орган, подкрепленный двумя контрабасами, и увлек в потоке своем все голоса – баритоны, тенора и басы, которые не служили теперь уже плененою тонким

⁴ Из глубины (*лат.*).

⁵ Из глубины возвах к Тебе, Господи... (*лат.*)

⁶ Господи, услышь глас мой (*лат.*).

волнам детских голосов, но звучали во всей силе, развернулись полной мощью, и однако все же, словно хрустальная стрела, пронизал и врезался в них порыв звенящих дискантов.

Новая пауза и упруго отталкиваемые органом, затрепетали новые строфы в безмолвии храма.

Со вниманием вслушиваясь и пытаясь разделить их, Дюрталь закрыл глаза, и они представлялись ему сперва почти горизонтальными, затем понемногу поднимались, наконец, совсем выпрямлялись, плача дрожали и разбивались в вышине.

Вдруг в конце псалма, исполняя ответствие антифона «*Et lux perpetua luceat eis*»⁷, детские голоса источились мучительным воплем, рыданием нежным, точеным и лучистым, трепетавшим над словом «*eis*», которое висело в пространстве.

Эти детские голоса ясные и острые, в напряжении своем, казалось, готовые оборваться, сияли белизной зари во мраке песнопения. Сливая свои нежные, полупрозрачные звуки с чистыми звонами бронзы, разбавляя густую жижу басов живой струей своих серебристых вод, утончали они стенания, и горше ощущалась пламенная мука слез. Но вместе с тем веяло от них заботливой лаской, струился живительный бальзам, лучились они утешением. Во тьме возжигали мимолетные искры, подобные роняемым в сумерках звонам ангелуса. Предваряя пророчества текста, вызывали они сострадательный облик Девы, нисходящей на бледных мерцаниях их звуков в ночь суровой молитвы.

В таком исполнении он неподражаемо прекрасен – этот «*De profundis*», хотя, строго говоря, не входит в состав грегорианского служебника. Это возвышенное моление, изливавшееся в рыданиях в тот миг, когда душа голосов устремлялась за пределы всего мирского, сломило нервы Дюрталя, пронизало его сердце. Он хотел сосредоточиться, прилепиться к смыслу угрюмой скорби, объемлющей падшее существо, трепеща припадающее к Господу. И вспомнились ему вопли третьей строфы, когда человек, из бездны падения моливший в сокрушении Спасителя своего, смущается, чувствуя себя услышанным, и, устыдившись, не знает, что сказать. Тщетными кажутся ему измышленные оправдания, ничтожными заготовленные доводы, и он лепечет: «Господи, кто обрящет милосердие, если исчислишь Ты грехи, Господи?»

«Как жалко, – думал Дюрталь, – что псалом, в первых стихах воспевающий отчаяние человечества, в последующих принимает облик личных излиятий царя Давида. Я хорошо знаю, – продолжал он свои думы, – что смысл сетований следует воспринимать символически, допустить, что библейский владыка сливает свое дело с делом Божиим, что враги его – нечестивцы и неверующие, что, по мнению учителей церкви, он преображает лик Христа, – пусть так! Но его плотские алкания и напыщенная хвала, которую воздает он своему неисправимому народу, омрачают сияние поэмы. К счастью, мелодия живет вне текста, собственной жизнью, не замыкается в расприх племени, но охватывает всю землю, воспевая страх веков, еще не родившихся, и современности, и времен умерших».

Стихли звуки «*De profundis*», и после молчания хор запел мотет XVIII века, но Дюрталя не привлекала светская музыка, исполняемая в храмах. Превыше самых прославленных творений музыки театральной и светской казалось ему древнее церковное пение – мелодия нагая и плоская, одновременно небесная и замогильная. В ней слышался торжественный вопль скорби и надменных восторгов, возносились величественные гимны веры человеческой, которые как бы струились в соборах мощными ключами, словно источаемые подножиями романских колонн. Как ни была бы музыка глубокой, скорбной, нежной, но может ли сравниться с торжественностью «*Magnificat*», с священным вдохновением «*Lauda Sion*»⁸, с исступленным ликованием «*Salve Regina*»⁹, с печалью «*Miserere*» и «*Stabat*»¹⁰, с безмерным величием «*Te*

⁷ От стражи утренняя (*лат.*).

⁸ Славь, Сион (*лат.*).

⁹ Славься Царица (*лат.*).

Deum»¹¹? Гениальные художники потщились переложить священные тексты; Витториа, Жоскен де Прэ, Палестрина, Орландо Лассо, Гендель, Бах, Гайдн начертали дивные страницы. Часто они творили, вдохновляемые мистическим наитием, эманацией Средневековья, навек утраченной. Но их творения выказывали, однако, некоторую искусственность, хранили надменность, чуждую смиренному величию и скромной пышности грегорианских песнопений. А последующие композиторы уже не верили, и настал конец церковной музыке.

В современности можно отметить несколько религиозных вещей Лесюэра, Вагнера, Берлиоза, Цезаря Франка, но в них также чувствуется художник, поглощенный своим произведением, художник, стремящийся выставить напоказ свое искусство, думающий о возвеличении своей славы, забывающий, следовательно, о Боге. Они были прежде всего люди, пусть и одухотворенные, но все же люди с обычными человеческими слабостями, неисправимо тщеславные, не могущие свергнуть с себя груза чувств. А в песнопении литургическом, всегда создавшемся безымянно в глубине монастырей, сочились неземные родники, без бремени греха, без следов искусственности. В них душа изливалась, освобожденная от рабства плоти, исторгалась вспышками возвышенной любви и чистого восторга. В них обрела церковь язык, создавалось музыкальное Евангелие, которое подобно писанному, доступно лишь самым изысканным и смиреннейшим.

Ну разве не лучшее испытание католицизма – искусство, им созданное, искусство не превзойденное никем! Ранние мастера в живописи и ваянии, мистики в поэзии и прозе, церковное песнопение в музыке, и в зодчестве стили романский и готический! И все это созидалось согласованно, возгоралось единым пламенем на едином жертвеннике, сливалось в дыхании единой мысли: обожая, поклоняться подателю, и служить ему, и приносить ему еще незапятнанные дары его, отраженные в душе тварей, как в зеркальной ясности.

И в дивные времена Средневековья, когда искусство, взлелеянное церковью, коснулось порога вечности, приблизилось к Божеству, в первый и, быть может, в последний раз постиг человек познание Божественного, лицемерие небесных очертаний. И они соответствовали между собой, воссоздавались от искусства к искусству.

Лики Приснодев закруглялись удлинненным миндалевидным овалом и походили на стрельчатые окна, которые создала готика, пропуская аскетический девственный свет под своды своих таинственных храмов. На картинах первых мастеров кожа святых жен прозрачна, точно пасхальные восковые свечи, а волосы бледно светятся, как золотистые крупы неподдельного ладана. Едва закруглены детские очертания торса, и выпуклость чела напоминает стеклянный покров дароносиц; тонкие пальцы сгибаются, а тела устремляются ввысь, подобные стройным колоннам. Красота делается до некоторой степени литургической. Кажется, что они живут в сиянии витражей, что пламенные вихри цветных стекол изливают на главы их лучистые кольца венцов, зажигают их голубые глаза, окрашивают умирающим рдением губы, украшают робкие оттенки их тел и угасают, тускнеют темными тонами, преломляясь на тканях одежды и тем подчеркивая хрустальную прозрачность взора, скорбную непорочность уст, благоухающих в соответствии с творимой службой или лилейным ароматом песнопений или благовонием покаянной мирры псалмов.

Духовный союз объединял между собой художников тех времен, создавая слияние душ. Живописцы и зодчие устремлялись к единому идеалу красоты, в нерушимой согласованности сочетали соборы с изображениями святых. Наперекор принятому обычаю, они творили лишь футляр прежде драгоценности, создавали раку ранее мощей.

С другой стороны, песнопения церкви изысканно родственны картинам первых мастеров. Неодинаково ли возвышенны, не проникнуты ли одним и тем же вдохновением лучшее про-

¹⁰ Стояла (мать, скорбящая) (лат.).

¹¹ Тебя, Бога, славим (лат.).

изведение Квентина Мессиса «Погребение Христа» и хоровые ответствия Страстной вечерни, сочиненные де Викторией? Разве не полна «Regina Coeli»¹² музыканта Лассо той же искренней веры, тех же чистых и причудливых устремлений, как и некоторые запрестольные статуи или религиозные картины старшего Брейгеля? И, наконец, разве «Miserere» Жоскена Дебре, регента капеллы Людовика VII, и полотна первых бургундских и фландрских мастеров не уносятся в том же парении, немного сдержанном, не созданы ли с той же тончайшей простотой, немного жесткой, не источают ли они одинакового дыхания истинного мистицизма, не округляются ли с натянутостью, неподдельно трогательной?

К единому идеалу обращено все это творчество, различны лишь средства достижения.

Несомненно также созвучие мелодии церковных песнопений с зодчеством. Иногда она сгибается, как мрачные романские аркады, льется суровая и сосредоточенная, наподобие верхних полукружий сводов. «De profundis» склоняется, точно тяжелые арки, образующие законченный скелет здания. Подобно им, он медлителен и полунощен. Он стелется лишь во тьме, движется лишь в унылых сумерках склепов.

Иногда, наоборот, грегорианская песнь как бы заимствует у готики ее цветистые завитки, ее изломанные стрелы, воздушные розетки, кружевные ромбы, орнаменты мелкие и тонкие словно голоса детей. Тогда она обращается из одной крайности в другую, глубокая скорбь переходит в беспредельный восторг. Случается также, что музыка гимнов и порожденная ею музыка христианская, подобно ваянию, сближаются с народной радостью, облакаются грубоватым ритмом толпы; таковы рождественская кантика «приидите, верные» и пасхальный гимн «O filii et filiae»¹³. Подобно Евангелию, они приближаются к малым сим и безыскусственно подчиняются смиренным желаниям бедняков, даруя им праздничную песнь, легкую и доступную, мелодический корабль, уносящий их в чистые обители, где бесхитростные души припадают к милосердым стопам Христа.

Песнопения, созданные церковью, взлелеянные в капеллах Средневековья, рождают струящееся воздушное перевоплощение неподвижных очертаний соборов. Они – бестелесное, эфирное истолкование картин старых мастеров.

Они – крылатое переложение, своего рода риза молитвенной латыни, которую вдохновенно созидали некогда иноки, обитавшие в монастырях.

Эти песнопения изменились теперь и ослабели; их перекрывает бессмысленный гром органов и их поют, не вкладывая ни чувства, ни души.

Большинство хоров, исполняя их, заливаются, подражая журчанью воды в водопроводных трубах; другим благоугодно воспроизводить жужжание трещоток, скрип блоков, крики журавлей. Но, не взирая ни на что, в них все же остается недосыгаемая красота, которую не могут заглушить даже завывания заблудших певчих.

Неожиданно Дюрталь поразило безмолвие храма. Он поднялся, осмотрелся кругом; в его углу ни души, кроме двух нищенок, заснувших, положив ноги на подлокотники и уронив на колени голову. Слегка наклонившись, он заметил в пространстве, во тьме одной из капелл, теплоющую лампаду в оправе красного стекла. Ни звука. Раздавались лишь мерные шаги при vratника, свершавшего свой обход.

Дюрталь сел. Сразу испарилась пустынная сладость уединения, благоухавшего ароматом воска и курений ладана. В первых же созвучиях органа Дюрталь признал «Dies irae»¹⁴, безотрадный гимн Средневековья. Он невольно склонил голову и стал вслушиваться.

Не смиренное то было моление, как «De profundis», не страдание, которое мнит себя услышанным и во мраке ночи различает светлую тропинку, не молитва, хранящая достаточно

¹² Царица Небесная (лат.).

¹³ Придите к Младенцу, верные (лат.).

¹⁴ День гнева (лат.).

надежды, чтобы не содрогнуться. Нет, в нем изливался вопль беспросветного отчаяния и ужаса.

Грозное дуновение божественного гнева бушевало в этих строфах. Казалось, что обращены они не столько к Богу любви, милосердому Сыну, сколько к грозному Отцу, являемому нам Ветхим Заветом, охваченному яростью, не смягчаемому курениями и жертвами. Еще суровее восставал Он здесь, угрожая возмутить воды, сокрушить горы, громом и молнией опустошить небесный океан. И в смятении стенала уstraшенная земля.

Кристалльный, прозрачный детский голос жалобно возвестил в безмолвии храма близящееся разрушение. И хор запел новые строфы, в которых грядет среди раздирающих трубных звуков неумолимый Судия дабы очистить огнем нечестие мира.

Глубокий, глухой, точно исходящий из церковных подземелий бас сгустил мрачные пророчества, усилил гнет угроз. После краткого ответствия хора, один из альтов повторил их, развернул еще подробнее, и, словно просвет в смерче, прозвучало имя Иисуса, возглашенное тончайшим отроческим фальцетом, после того, как жестокая поэма исчерпала повесть мучений и кар. Задыхаясь, вопиял о милости мир, всеми голосами хора взывал к бесконечному милосердию и всепрощению Спасителя, заклинал, чтобы пощадил Он, некогда помиловавший раскаявшегося разбойника и Магдалину.

Но вновь разбушевалась буря в неизменной мелодии, строптивой и печальной, затопила своими валами проступившее сияние неба, и уныло продолжали солисты, прерываемые скорбными ответствиями хора, воплощать один за другим в разнообразии голосов ступени, ведущие к позору, отдельные звенья ужаса страданий, различные века слез.

Потом смешались, слились все голоса, и понеслись по мощным водам органа разбитые обломки человеческих мук, молитвы и слезы. Ослабевали в изнеможении, цепенели в страхе, трепетали вздохами ребенка, укрывающего лицо, пролепетали «*Dona eis, requiem*»¹⁵ и немощно замерли в таком жалобном «*Amen*», что он испарился, как дыхание над рыдающим органом.

Кто создал эти образы отчаяния, кто уносился мечтою в эти горести? И Дюрталь ответил себе: никто.

Тщетно изошрялись разгадать автора музыки и слов. Их приписывали Франжипани, Томасу де Селано, святому Бернару и многим другим, но они попрежнему оставались безымянными, их создали скорбные наслоения веков. Сначала «*Dies irae*» упало семенем отчаяния на потрясенные души XI века. Пустило корни, дало медленные всходы, вскормленное соками смятения, орошенное дождем слез. Наконец, когда оно созрело, его подрезали и, быть может, даже слишком усердно обрубили ветви, так как в одном из первых известных текстов встречается строфа, потом исчезнувшая, которая вызывает величественный варварский образ земли, которая сотрясается, изрыгая пламя, и созвездий, разлетающихся осколками, и неба разверстого надвое, подобно книге!

И, однако, как прекрасны эти терцеты, окутанные холодом и тьмою, удары рифм, падающих, перекликаясь суровым эхом, музыка, точно облекающая фразы саваном из грубого холста и наделяющая творение очертаниями суровой графики! «И однако песнь эта, постигающая и вдохновенно отражающая глубину стиха, этот мелодический период, который льется, выражая в неизменности созвучий поочередно молитву и смятение, слабее волнует меня, – думал Дюрталь, – трогает меньше, чем «*De profundis*», в котором нет ни такого мощного размаха, ни этого раздирающего вопля искусства.

Исполняемый в нотном повышении, «*De profundis*» приземлен и удушлив.

Он исходит из могильных недр, в то время как «*Dies irae*» останавливается у гробового входа. В первом слышится голос самого усопшего, во втором – голоса погребяющих живых, сетуя, мертвец обретает успокоение, но безутешны те, которые его хоронят.

¹⁵ Покой вечный даруй им, Господи (лат.).

Строго говоря, я предпочитаю текст «Dies irae» тексту «De profundis» и мелодию «De profundis» мелодии «Dies irae». Следует заметить, впрочем, что это песнопение исполняется на современный лад, театрально, развертываясь без необходимого величавого единства!» – решил Дюрталь.

Он прервал свои мысли, прислушавшись на секунду к отрывку современной музыки, который запел хор. Кто решится наконец изгнать эту резвую мистику, эти потоки мутной воды, которые сочинил Гуно? Не шутя, следовало бы наказывать регентов хора, допускающих в храмах музыкальный разврат! Ну точно, как сегодня утром в церкви Св. Магдалины, где я случайно застал бесконечное отпевание старого банкира. Чтобы почтить превращение финансиста в прах, там исполняли воинственный марш под аккомпанемент виолончелей и скрипок, труб и колокольчиков!.. Какая гадость! И Дюрталь перенесся мысленно в Ализде де Мадлен, целиком отдавшись своим мыслям.

В сущности, духовенство уподобляет Иисуса страннику, призывая его каждодневно в каждую церковь, снаружи не увенчанную ни одним крестом, а внутренностью своей похожую на большую гостиную какого-нибудь «Лувра» или «Континенталья». Но как убедить священнослужителей, что подобное уродство равноценно святотатству, и что ничто не сравнится с мерзостным грехом беспорядочного смешения романского и греческого стилей, живописи восьмидесятилетних маразматиков, плоского потолка, продырявленного круглыми окошками, всегда пропускающими один и тот же тусклый свет дождливого дня, ничтожного алтаря, окруженного хороводом ангелов, с умеренным увлечением пляшущих свой неподвижный мраморный танец?

Все меняется в этой церкви только в часы погребений, когда открываются двери и приближается мертвец в светлой полосе дня. Литургия, словно сверхчеловеческий тимол, очищает, обеззараживает нечестивое безлепие этого храма.

Вспоминая утренние впечатления, Дюрталь, закрыв глаза, мысленно видел вереницу красных и черных ряб, белых стихарей, шествовавших из глубины полукруглой апсиды, соединившихся перед престолом вместе, спустившихся по ступеням, смешавшихся перед катафалком, опять разделившихся, чтобы обойти его и снова сблизиться, сойтись в широком проходе, уставленном вдоль стен стульями.

Увлекаемая высоко поднятым крестом, процессия двигалась медленно и безмолвно навстречу покоившемуся на возвышении усопшему. Ее вели черные траурные фигуры в генеральских эполетах, со шпагами, покоящимися в ножнах. Издали в смешении света, падавшего сверху, с огнями, зажженными вокруг катафалка и на престоле, как бы исчезали горящие свечи, и казалось, что священники, несшие их, идут, подняв пустые руки и указуя на звезды, сияющие над их головами.

Потом, когда духовенство окружило гроб, из глубины алтаря раздался «De profundis», исполняемый невидимыми певчими.

«Звучало красиво, – вспоминал Дюрталь. – Детские голоса там визгливы и хрупки, а басы дряблы и худосочны; им далеко до хора Сен-Сюльпис, а все же выходило превосходно. А что за великолепное мгновение, когда причащался священник и голос тенора, отделяясь вдруг от гудения хора, излился в величественном антифоне песнопения:

„Requiem aeternam dona eit, Domine, et lux perpetua luceat eit“¹⁶.

Точно облегчение несет после стенаний „De profundis“ и „Dies irae“ бытие Бога на престоле и оправдывает доверчивую, торжественную гордость этого мелодичного пения, взывающего ко Христу без содроганий и слез».

¹⁶ Покой вечный даруй им, Господи... (лат.)

Кончается обедня, скрывается священнослужитель и так же, как при внесении мертвеца, приближается к телу духовенство, предшествуемое привратниками, и в пылающем кольце свечей возглашает священник, облаченный в мантию, могущественные разрешительные молитвы.

Литургия становится все более возвышенной, все более чарующей. Церковь – посредница между грешником и Верховным Судией, – устами священника заклинает Господа даровать прощение этой бедной душе: «Non intres in Judicium cum servo tuo, Domine!...»¹⁷ После «Amen», пропетого всем хором в сопровождении органа, из безмолвия поднимается голос и говорит от имени мертвеца:

«Libera me...»¹⁸

А хор продолжает древнюю песнь X века. Так же, как и в «Dies irae», впитавшем в себя отрывки этих жалоб, пламенеет в ней Страшный суд и неумолимые ответствия хора, подтверждают усопшему справедливость его страхов, удостоверяют ему, что Грозный Судия приидет среди молний и покарает мир, когда распадутся времена.

Тогда широкими шагами обходит священник катафалк, кропит его жемчужинами освященной воды, кадит, осеняет страждущую, плачущую душу, утешает ее, привлекает к себе, как бы укрывает ее своей мантией, снова ходатайствует, чтобы после стольких томлений и трудов дал Господь несчастной уснуть вдали от житейской суеты в обители вечного упокоения.

Никогда ни одна религия не отводила человеку более высокой роли, не открывала предназначенья более возвышенного чрез таинство освящения. Вознесенный над всем человечеством, чуть не обожествленный благодатью сана мог приблизиться священнослужитель к краю бездны, когда сотрясалась или стихала земля, и предстательствовать за существо, которое церковь окрестила, когда оно было еще ребенком, и которое могло и забыть, и даже бороться с ней до самой смерти.

И церковь не убоилась этой задачи. Пред смердящим телом, положенным в ящик, она помышляла о путях души и восклицала: «Господи, исторгни ее из врат адовых!..» Но в конце отпущения, в тот миг, когда шествие возвращается к ризнице, казалось, что встревожена также и сама церковь. Мимолетно вспомнив, быть может, о грехах, содеянных этим мертвецом при жизни, она сомневалась, по-видимому, что услышаны будут ее мольбы, и сомнение это, невыданное словами, сквозило в оттенке последнего «Amen», который пролепетали детские голоса. Боязливый и далекий, нежный и жалобный «Amen» говорил: мы сделали, что могли, но... но... И в гробовом молчании, наступившем после того, как духовенство покинуло неф, восставала единая лишь жалкая действительность этой пустой скорлупы, которую поднимут люди и положат на дроги, подобно отбросам боен, увозимым утром в салотопни, где из них варят мыло.

Как меняется картина! – раздумывал Дюрталь: если лицом к лицу с этими скорбными моленьями, с красноречием разрешений от грехов сопоставить брачную службу. Церковь тогда безоружна, и ничтожно ее музыкальное служение. Невольно вынуждена она разыгрывать брачные марши Мендельсона, черпать из мирских авторов веселье их напевов, чтобы восславить краткую и тщетную радость тела. Иногда случается, что, наперекор всякому смыслу, песнопение величает ликующее нетерпение девушки, ожидающей, что мужчина овладеет ею сегодня вечером. Или не менее странно слышать, когда «Te Deum» воспекает блаженство мужчины, готовящегося взять женщину, на которой он женится, потому что не нашел других средств завладеть ее приданым.

Церковное песнопение, далекое от этой дани телу, замыкается в антифонах, как монах в монастыре. И если исходит, то лишь затем, чтобы возрасти перед Христом колосьями мук и страданий. Оно сгущает и выражает их в дивных жалобах, а когда отдается преклонению, утомившись звать о пощаде, то вдохновенно прославляет события вечные: Вербное воскре-

¹⁷ Не введи во искушение раба своего, Господи! (лат.)

¹⁸ Спаси меня... (лат.)

сенье и Пасху, Троицын день и Сошествие Святого Духа, Богоявление и Рождество. Оно изливается тогда в неизъяснимом восторге, уносится за пределы миров, иступленно припадает к стопам Господним!

Что касается до погребального обряда, то он превратился теперь в официальную рутину, в список молитв, который воспроизводят бессознательно, не вникая в них.

Органист думает о семье, мысленно перебирая за игрой свои заботы. Человек накачивающий воздух в трубы, помышляет о кружке пива, которой утолит свою жажду. Теноры и басы поглощены исполнением и окунаются в более или менее взбаламученную воду своих голосов. Дети хора мечтают, как бы порезвиться после обедни. Ни те, ни другие не понимают ни слова латинского песнопения «Dies irae», в котором они выпускают часть строф.

Церковный староста подсчитывает деньги, которые храм получит от усопшего, и даже священник, утомленный обилием прочитанных молитв, сбывает с рук службу, поспешая к обеду, и механически шепчет молитвы. Торопятся провожающие, нетерпеливо ожидая конца заупокойной обедни, – которую они, конечно, не слушают, – чтобы поскорее пожать руку родственникам и покинуть мертвеца.

Царит полное невнимание, глубокая скука. А сколько действительно страшного в том, что лежит там, на помосте, в ожидании выноса из храма. Пустые ясли, навсегда покинутое тело. И распадаются эти ясли, и нет там ничего, кроме зловонной сукровицы, испаряющихся газов, гниющего мяса!

А душа, что с нею, теперь, когда отошла жизнь, а плоть разлагается? Никого это не занимает, даже семью, изнуренную долгой службой, погруженную в печаль, оплакивающую лишь видимое олицетворение утраченного существа. «Никого, кроме меня, – думал Дюрталь, – да еще нескольких любопытных, собравшихся в трепете послушать «Dies irae» и «Libera» и понимающих язык их и смысл!»

Но одной лишь оболочкой слов, не проникая в них, даже не вдумываясь, творит дело свое церковь.

Совершается чудо литургии, власть ее речи, неизменно возрождающееся обаяние стихов, созданных далекими временами, молений, сложенных умершими веками. Все минуло, не сохранилось ничего, чему поклонялись ушедшие столетия. Но уцелели священные стихи, выкрикиваемые теперь равнодушными голосами и мысленно повторяемые ничтожными сердцами, и эти слова сами собой предстательствуют, трепещут, молят о пощаде, исполненные самодовлеющей силы, чудодейственных влияний, неотчуждаемой красоты, мощной непоколебимости своей веры. Да, Средние века передали в наследство нам этот дар, чтобы помочь нашему спасению, если можно только спасти душу современной маски, мертвой маски!

В наши дни, решил Дюрталь, в Париже ничего не осталось достойного, кроме почти одинаковых церемониалов пострижения и погребения. Беда только, что похоронная роскошь неистовствует, когда отпевают богатого покойника.

Утварь, которую тогда извлекают, способна довести до умопомрачения: серебряные статуи; безобразного вида цинковые вазы, в которых пылает зеленый огонь; жестяные канделябры на рукоятках, напоминающих обращенную жерлом вверх пушку, воздымают подсвечники, напоминающие пауков, опрокинутых на спину и держащих лапками зажженные свечи, – весь металлический лом времен первой Империи, разубранный рельефом розеток, листьев аканта, крылатыми песочными часами, ромбами, греческими украшениями. Кошмар усугубляется тем, что возвышая жалкое великолепие церемоний, исполняют музыку Массне и Дюбуа, Бенжамена Годара и Видора или, хуже того, музыку, которая напоминает смесь ризницы с кабаком.

Помимо всего, лишь на отпевании богатых можно услышать бури рокочущих органов, скорбное величие церковных песнопений. Недоступны беднякам ни хор, ни орган – всего

несколько горсточек молитв да три взмаха кропилом. И еще одного мертвеца оплакивают и уносят!

Размышления Дюртала прервались на время, после чего он задумался:

«Не следует мне, впрочем, слишком хулить богатых толстяков. В сущности, лишь благодаря им я теперь слушаю дивную зауспокойную обедню. Господа эти при жизни, быть может, никому не сделавшие добра, оказывают некоторым, сами того не сознавая, милость после смерти».

Шум вернул его к действительности церкви Сен-Сюльпис; хор уходил, запирали церковь. «Я опять не молился, – думал он, – а это было бы лучше, чем уноситься мечтами в пустоту, сидя здесь на стуле. Молиться. Но к этому меня не тянет. Я увлечен католицизмом, опьянен воздухом его ладана и воска, брожу около него, растроганный до слез его молитвами, глубоко захваченный его псалмами и песнопениями. Мне опротивело мое существование, я смертельно наскучил себе, но как далеко еще отсюда до другой жизни! Притом... притом же... я бываю потрясен только в капеллах и едва выйду, как опять черствую, становлюсь сухим. В сущности, – заключил он подымаясь и направляясь вслед за несколькими отставшими, которых привратник провожал в одну из дверей, – в сущности, сердце мое ожесточилось и затуманено утехами – я не гожусь ни на что».

II

Как обратился он в католицизм, как пришел к нему?

Дюрталь отвечал себе: не знаю, я знаю лишь, что после лет неверия, я вдруг уверовал.

Он пытался разобраться в этом превращении, хотя сознавал, что здравый смысл бессилён анализировать случившееся.

«В общем, удивление мое, – рассуждал он, – основано на предвзятых мыслях об обращениях.

Я слышал рассказы о внезапных и бурных переворотах души, подобных громовым ударам, или о вере, взрывающей почву, минированную медленно и мудро.

Очевидно, что обращение может быть достигнуто тем или иным путем, который сочтет за благо избрать Господь, но есть еще третий способ, без сомнения, самый обычный, который применил Спаситель. В чем состоит он, не знаю, и действие его подобно работе органов, которого человек не ощущает. Не открывалось предо мной пути в Дамаск, и не происходило событий, которые бы породили перелом.

Ничто не случилось, а человек в одно прекрасное утро пробуждается с сознанием, что он верит, не понимая, почему и как.

Да, но разве не походит, в сущности, это влияние на движение мины, которая взрывается лишь после того, как заложена глубоко под землей? О, нет! Ее работа была бы ощутима. Я преодолевал бы тогда помехи, заграждающие путь, размышлял бы, мог бы проследить, как пробегает по нити искра. И однако ничего подобного. Я сделал нечаянный прыжок, это застало меня врасплох, я не подозревал даже, что под меня проложен такой глубокий подкоп. Не скажу также, что обращение мое подобно громовому удару, правда, удару безмолвному и таинственному, необычному, тихому. Но даже и это было бы неверно: внезапный переворот души почти всегда вызывается каким-либо горем или преступлением, или, в крайнем случае, исходит от события видимого.

Нет, единственно достоверное объяснение моей судьбы в промысле Божиим, в Благодати. Значит, психология моего превращения ничтожна?»

И он отвечал себе:

«Так кажется, когда я тщетно пытаюсь восстановить вехи пути, по которым я пришел. Конечно, я могу проследить кое-какие грани пройденного пути: любовь к искусству, наследственность, пресыщение жизнью. Могу воскресить в памяти забытые ощущения детства, подземные блуждания мыслей, внушенных стоянием в церквях. Но связать эти нити, собрать их воедино я не в силах, не в силах постигнуть вспыхнувшего во мне неожиданного и безмолвного сияния. Когда я пытаюсь объяснить себе, почему, будучи неверующим накануне, я, сам того не ведая, превратился в одну ночь в верующего, то не нахожу никакого ответа, небесное вмешательство не оставило следов.

Очевидно, – продолжал он свои раздумья, – в этих случаях о нас печется Богоматерь. Она нисходит к нам и вручает в руки Сына. Но персты ее так нежны, так прозрачны, так любовны, что душа, врачуемая ими, не ощущает ничего.

Но если от меня скрыто развитие и отдельные уклоны моего обращения, то я все же могу угадать мотивы, которые привели меня, после жизни безразличной, в лоно церкви, повинувшись которым я бродил возле нее, и которые насильственно подтолкнули меня, заставили войти.

Таких главных причин, – размышлял он, – было три».

Во-первых, врожденное тяготение, унаследованное от семьи, издревле благочестивой, разбредшейся по монастырям. Пред ним восставали воспоминания детства, образы кузин, теток, которых видал он в монастырских приемных, женщин нежных и задумчивых, белых, как церковные облатки.

Он пугался их тихих голосов, ему делалось жутко, когда, оглядев его, они спрашивали, хорошо ли он себя ведет.

Он испытывал пред ними особое чувство страха, забивался в материнские юбки и дрожал, когда, уходя, следовало поднести свой лоб к обесцвеченным губам, которые оставляли на нем веяние холодного поцелуя.

Теперь, в дымке далеких воспоминаний, свидания эти, так смущавшие его в детстве, казались ему изысканными. Он влагал в них своеобразную поэзию монастыря, облакал выдыхающимся запахом деревянных панелей и восковых свечей эти оголенные приемные. Рисовал себе монастырские сады, которыми он проходил, сады, источавшие едкий и соленый аромат буксуса, засаженные грабинником, усеянные виноградными лозами с ягодами вечно зелеными и никогда не созревающими, снабженные скамьями, источенный камень которых хранил влажность прошлых ливней. В его памяти проносились тысячи подробностей о безмятежных липовых аллеях, о тропинках, по которым убегал он в черное кружево тени, роняемое ветвями на землю. В его воображении с годами сады разрастались, и он хранил о них слегка туманные воспоминания, в которых трепетала расплывающаяся картина старого дворцового парка или священнического плодового сада, расположенного к северу от дома и хранившего легкую прохладу даже в то время, когда палит солнце.

Неудивительно, что, когда он украшал в своих думах ощущения эти, преобразованные временем, они напитывали душу его благочестивыми мыслями, просачивавшимися вглубь. Возможно, что тридцать лет все это глухо бродило в нем, и восстало теперь.

Но две других известных ему причины, вероятно, повлияли еще сильнее.

Это отвращение к жизни и страсть к искусству. И чувство отвращения, несомненно, отягчалось его одиночеством и праздностью.

Раньше он случайно завязывал дружеские связи и сживался с душами, у которых не было ничего с ним общего. Наконец, установились после долгих напрасных блужданий его влечения, и он близко сдружился с неким доктором Дез Эрми, врачом, погружившимся в демономанию и мистику, и со звонарем колокольни Сен-Сюльпис, бретонцем Каре.

Их отношения не походили на прежние, поверхностные и чисто внешние; они отличались широтой и глубиной, покоились на сходстве мыслей, на нерасторжимом слиянии душ. Но вдруг они порвались: на протяжении месяца умерли Дез Эрми и Каре, сраженные – первый – тифозной лихорадкой, второй – простудой, которая уложила его в постель после того, как он прозвонил вечерний «анжелюс» на колокольне.

Это было тяжким ударом для Дюртала. Жизнь его поплыла по течению, не удерживаемая никакой привязанностью. Бесцельно блуждал он в сознании, что запустение это окончательное и что в его в возрасте ему уже не сойтись больше ни с кем.

Тогда зажил он одиноким отшельником, зарывшись в свои книги, но уединение, которое он легко сносил, когда бывал занят, сочиняя книгу, становилось нестерпимым в дни неделанья. Усевшись после полудня в кресло, он уносился в свои сны, навевавшие на него одни и те же неизменные мысли и за спущенной завесой его глаз развертывавшие все те же лицедейства волшебства, картины которых не менялись. Все так же плясали нагие образы в его мозгу при пении псалмов, и от мечтаний своих он отрывался трепещущий, потрясенный, способный, будь возле него священник, с плачем броситься к его ногам или отдаться бесстыднейшей похоти, если б увидел пред собой в своей комнате блудницу.

«Отгоним все эти призраки работой!» – восклицал он. Но работать над чем? Выпустив повествование о Жиле де Ре, которое могло показаться занимательным несколькими художникам, он бесплодно искал сюжета новой книги. Человек крайностей в искусстве, он сейчас же перескочил из одной противоположности в другую и, исследовав в своей повести о Жиле де Ре сатанизм Средневековья, чувствовал, что занять его теперь могло бы лишь житие святой;

несколько строк при изучении мистики Герреса и Рибо натолкнули его на след блаженной Аюдвины, и он устремился в поиски за новыми источниками.

Но, допуская даже, что ему удалось бы открыть их, мог ли вообще создать Дюрталь жизнеописание святой? Он отвечал отрицательно, и ему казалось, что в основе его вывода лежат соображения убедительные.

Жития святых есть отрасль искусства, ныне утраченная. Ее постигла та же участь, что резьбу по дереву и миниатюры древних требников. В наше время ею занимаются лишь церковные старосты и священники, комиссионеры стиля, которые в писаниях своих как бы на драги нагружают свои соломенные мысли. Она превратилась в их руках в одно из общих мест изделий благочестия, в книжное переложение статуэток Фрок Роберта, хромотипии Буассо.

Пред ним открывался свободный путь, и легким казалось странствие, на первый взгляд. Но, чтобы извлечь чары из легенд, необходимо воплотить их наивным языком минувших веков, невинным словом мертвых поколений. Как достичь в наши дни скорбной сущности, ароматной белизны древних переводов «Золотой Легенды» Иакова Ворагинского? Как связать в непорочный букет унылые цветы, выращенные в те времена, когда священнопись была сестрой варварского и восхитительного искусства мастеров витражей, пылкой и целомудренной живописи ранних мастеров?

Нечего и думать о тщательной подделке, о хладнокровном воспроизведении таких творений. И остается решить вопрос: можно ли воссоздать смиренный и возвышенный облик святой средствами современного искусства? Ответ получался в лучшем случае сомнительный. Недостаток истинной простоты, бремя слишком искусного стиля, выдуманность старательного рисунка, притворство хитроумных оттенков угрожали превратить избранницу в комедиантку. Вместо святой получилась бы актриса, более или менее искренно разыгрывающая свою роль, разрушилось бы очарование, чудеса казались бы искусственными, события жизни бессмысленными!.. И наконец... наконец... нужна еще вера, доподлинно живая, вера в святость героини, если хочешь извлечь ее из праха и оживить в своем творении.

Эта истина подтверждается примером Гюстава Флобера, написавшего дивные страницы легенды о Юлиане Милостивом. Они шествуют в пленительном, размеренном смятении, движутся в наряде бесподобного языка, внешняя простота которого есть плод сложных ухищрений неслыханного искусства. Все в них есть, все, но не хватает того дыхания, которое из этой новеллы создало бы истинное чудо искусства. Нет пламени, соответственного содержанию, которое должно бы пылать под покровом великолепных фраз. Нет вопля любви, даруемой отрешением сверхчеловеческим, раздирающей мистическую душу!

С другой стороны, заслуживают прочтения «Лики Святых» Элло. Верой пропитаны все его образы, пыл изливается из глав его, неожиданные сопоставления вырывают неисчерпаемые водоемы мыслей между строк. Но что из того! Элло до такой степени не художник, что сияющие легенды меркнут от прикосновения его пальцев. Его скупой стиль истощает чудеса. Ему не хватает искусства, которое извлекло бы эту книгу из разряда творений тусклых, творений мертвых!

На Дюрталя наводил полное уныние пример обоих этих людей, писателей, бесконечно друг другу противоположных и не могших достичь совершенства; первый в легенде святого Юлиана, так как не доставало ему веры, и второй потому, что был наделен искусством безмерно скудным. Надо быть и тем и другим, оставаясь при этом еще самим собой, думал он: если же нет, то к чему браться за решение таких задач? Лучше молчать. И безутешно тосковал он, сидя в кресле.

В нем крепло отвращение к его бесплодной жизни, и много раз спрашивал он себя: зачем провидение мучит так потомков своих первых обращенных? Но, не находя ответа, он все же неизбежно приходил к сознанию, что церковь собирает, по крайней мере, рассеянные в пусты-

нях этих обломки, что она дает приют потерпевшим кораблекрушение, примиряет их, дарует им надежный кров.

Подобно Шопенгауеру, которым он увлекался раньше и который наскучил ему своей склонностью к пережевываньям смерти, своим гербарием сухих жалоб, церковь не обольщала человека, не стремилась дурманить его, не кичилась благостью жизни, наоборот, познала весь ее позор.

Во всех своих книгах Откровения сетовала она на ужас рока, оплакивала бремя жизни. Левит, Екклесиаст, книга Иова, Плач Иеремии свидетельствуют о скорби этой каждой своей строкой, а Средневековье в свою очередь осудило бытие в книге о Подражании Иисусу Христу и громким криком призывало смерть.

Еще яснее Шопенгауера возвещала церковь, что не к чему стремиться здесь на земле, нечего ожидать, но она продолжала там, где прерывались умствования философа, переступала порог сверхчувственного, раскрывала идеал, ясно очерчивала цели.

«Строго говоря, – размышлял он, – не так уж непреложен хваленый довод Шопенгауера против правосудия Создателя, основанный на муке и неправде мира; нет, мир не таков, каким создал его Господь, он есть то, что из него сделал человек.

Прежде чем обвинять небо в нашей скорби, надлежало бы, без сомнения, исследовать добровольные видоизменения, намеренные падения, испытанные человеком, прежде чем погрузился он в мрачный дурман, в котором теперь тоскует. Надлежало бы осудить пороки его предков и собственные его страсти, порождающие большую часть недугов, от которых он страдает. И в заключение следовало бы отречься от цивилизации, создавшей нестерпимые условия нашего существования, но не от Господа, который не сотворил нас способными падать развешанными от пушечных выстрелов во времена войны, а во времена мира изнывать жертвою угнетающих, обкрадывающих, грабящих нас пиратов торговли, разбойников банков.

Непостижим, правда, тот врожденный страх жизни, страх, присущий каждому из нас. Но это тайна, которую не объясняет никакая философия.

Ах, если подумать, что из года в год накапливался во мне страх и отвращение к жизни, то ясно понимаю я, почему прибило меня к единственному порогу, за которым я мог укрыться, – к церкви. Прежде я владел опорой, поддерживавшей меня, когда дули суровые ветры печалей. И я презирал церковь. Я верил в свои романы, работал над своими историческими книгами; я жил искусством и кончил признанием полной несостоятельности его, совершенной неспособности даровать счастье. Тогда я понял, что пессимизм прекрасно утешает людей, не чувствующих потребности истинного утешения. Понял, что учения его могут прельстить человека юного, богатого, довольного собой, но становятся удивительно немощными, отчаянно ложными, когда уходят годы и надвигаются недуги и рушится все!

Я обратился в лечебницу душ – церковь. По крайней мере, вас примут там, позаботятся о вас. Не назовут, как в клинике пессимизма, лишь имя болезни, которая мучает вас, и не повернутся к вам спиной».

Наконец, к религии Дюртала привело еще искусство. Искусство сильнее даже, чем пресыщение жизнью, явилось тем непреодолимым магнитом, который привел его к Богу.

Вся душа его сотряслась глубоко в тот день, когда из любопытства, чтобы убить время, он забрел в церковь, после стольких лет забвения, и прослушал зауспокойные моления вечерни, тяжело падавшие одно за другим, в то время, как певчие, чередуясь, подобно могильщикам, бросали друг за другом мягкие горсти стихов. Он чувствовал, что навсегда пленен услышанными в Сен-Сюльпис дивными песнопениями, исполняемыми при поминовении усопших, но окончательно захватили, еще сильнее поработили его обряды и песни Страстной Седьмицы.

Как любил он посещать храмы в течение этой недели! Они раскрывались, подобные вымершим дворцам, точно опустошенные кладбища Господни. Казались мрачными, с их завешанными ликами, с распятиями, облаченными в фиолетовые платы, умолкшими органами,

онемевшими колоколами. Толпа стекалась, сосредоточенная и бесшумная, шествовала по земле к исполинскому кресту, слагавшемуся из главного нефа и обоих боковых трансептов; войдя чрез раны, изображенные вратами, поднималась к алтарю, туда, где как бы возлежала глава Христа, и на коленях жадно лобызала распятие, у подножья ступеней.

И толпа, переливавшаяся в крестообразном сосуде храма, сама превращалась в огромный живой крест, безмолвный и печальный.

В Сен-Сюльпис, где вся семинария в полном составе оплакивала позор человеческого правосудия и приговор смерти, вынесенный Богу, Дюрталь увлекался недостижимым богослужением горьких дней, мгновений тьмы, внимал безмерной скорби Страстей, так возвышенно, так глубоко воплощаемой медленными песнопениями страстной вечерни, ее сетованиями и псалмами. Но сильнее всего повергало его в трепет воспоминание о Деве, нисходящей в Великий Четверг, когда ниспадает ночь.

Церковь, объята пред этим горестью и распростертая пред крестом, восставала и испускала рыдания, узревая Богоматерь.

Голосами всего хора теснилась она вокруг Марии, пыталась утешить ее, сливая с ее плачем слезы «Stabat Mater», стеная музыкой страдальческих терзаний, орошая ее горе строфами, источавшими воду и кровь, подобно ране Христа.

Дюрталь выходил утомленный этим долгим бдением, но зато рассыпались колебания его веры. Он не сомневался больше, что благодать излилась на него в Сен-Сюльпис с красноречивым блеском литургии и что призывы обращались к нему в сумрачной печали голосов. И он ощущал чисто сыновнюю признательность к этому храму, в котором провел такие нежные и трогательные часы.

И, однако, он совсем не посещал его в обычное время. Храм казался ему слишком обширным, холодным и даже безобразным! Он предпочитал ему церкви более уютные, меньшие размером, церкви, еще хранящие следы Средневековья!

И в дни блужданий он, выйдя из Лувра, где подолгу застаивался перед картинами первых мастеров, укрывался в древний храм Сен-Северин, приютившийся в одном из бедных уголков Парижа.

Он приносил с собой туда видения картин, которым поклонялся в Лувре, и вновь созерцал их в обстановке, им родственной.

Уносимый в облаках гармонии, плененный светлыми струями хрустального детского голоса, отрывающегося от гулкого рокота органа, он переживал здесь блаженные мгновения.

Он чувствовал там, когда даже не молился, как поднимается в нем жалобная скука, сокровенная тоска. Выпадали дни, когда Сен-Северин восхищал его, лучше других помогал преисполниться неуловимым ощущением радости и сожаления, а иногда наводил его помыслы на содеянные безумства похоти и очищал душу раскаянием и ужасом.

Часто уходил он туда. Особенно любил бывать по воскресеньям утром за поздней обедней.

Он устраивался тогда позади главного алтаря в печальной укромной апсиде, подобно зимнему саду засаженной необычными, немного дикими деревьями. Она походила на беседку из окаменевших древних деревьев цветущих, хотя с них спала листва, и словно высокие стволы поднимались четырехугольные или многогранные колонны, прорезанные у основания длинными выемками, в прохождении своем слагавшиеся в овалы, напоминавшие корни ревеня и желобчатые, точно сельдерей.

Не распускалась листва на вершинах стволов, нагие ветви которых изгибались вдоль сводов, соединяясь с ними, примыкая к ним, в местах слияния собирая причудливые букеты поблекших роз, гербовые, ажурно точеные цветы. И стлы уже около четырехсот лет эти неподвижные деревья. Неизменными навсегда согнулись ветви, слегка поблекла белая кора колонн, и увяли цветы. Осыпались геральдические лепестки, а некоторые ключи свода хранили лишь

наслоенные друг на друга чаши, раскрытые, подобно гнездам, источенные, словно губки, измятые, как клочки потемневших кружев.

Среди этой таинственной растительности, этих каменных деревьев, одно из них, странное и чарующее, порождало безумную мысль, что, быть может, сгустился, затвердел, бледнея и веясь, дым голубого ладана и сложился в дугу этой колонны, которая поднималась спиралью и распускалась в знак, обломавшиеся стебли которого ниспадали с покатою свода.

Уголок этот, куда уходил Дюрталь, тускло освещался стрельчатыми окнами в сетке черных ромбов, в которые вставлены были крошечные стекла, затемненные налетом издавна накапливавшейся пыли и казавшиеся еще мрачнее от церковных панелей, опоясывавших их.

Апсиду эту можно было вообразить себе тяжелым окаменевшим сплетением остовов деревьев, теплицей умерших пальм, наводившей на мысль о чудодейственной птице Феникс, будившей призраки прихотливых веерников; но своими очертаниями полумесяца и мутным светом она вызывала также и видение корабельного носа, который погрузился в волны. В перевитые черными переплетами окна, словно в круглые окна трюма, доносились сдавленные шумы колес на улице, подобные журчанию реки, которая просеивает в мутном потоке своих вод золотистые отблески дня.

По воскресеньям, за поздней обедней апсида оставалась пустой. Все молящиеся наполняли корабль церкви перед главным алтарем или размещались в притворе, посвященном Богоматери. Дюрталь почти всегда бывал один, а если случалось проходить кому через его убежище, то, не в пример верующим других церквей, люди эти не казались ни враждебными, ни тупыми. В этом квартале неимущих храм посещали бедняки: лавочники, сестры милосердия, оборванцы, подростки. Преобладали женщины в лохмотьях, ходившие на цыпочках, опускавшиеся на колени не глядя вокруг, стеснявшиеся себя рядом с убогой роскошью алтарей; робко поднимали они глаза и склоняли голову при приближении служки.

Растроганный немим зрелищем этой боязливой нищеты, Дюрталь слушал литургию, исполняемую хором малочисленным, но тщательно обученным. Лучше, чем в Сен-Сюльпис, где богослужения отличались иной торжественностью и полнотой, исполнял хор Сен-Северина дивное песнопение «Credo»¹⁹. Он будто бы возносил его к высоте сводов, и, развернув широкие крылья, почти недвижно парила песнь над распростертой паствой, когда медленно и внушительно реял стих «Et homo factus est»²⁰, роняемый пониженным голосом певчего. Звуки неслись окаменелые и вместе с тем прозрачные, в нерушимости своей подобные членам Символа Веры и столь же дышавшие наитием, как и сам текст, возвещенный Духом Святым на последнем собрании апостолов Христа.

Один из басов в Сен-Северине одиноко возглашал первый стих, а все детские голоса изливали последующие; и размеренно утверждались неизменные истины, звучащие внушительнее, суровее, значительнее, быть может, даже слегка жалобно, в оторванном мужском голосе и казавшиеся, пожалуй, более робкими, но зато и более приветливыми и радостными в порыве, хотя и сдержанном, юных голосов.

Дюрталь чувствовал себя умиленным в этот миг и мысленно восклицал: «Не могут быть ложны потоки веры, создавшие музыку с подобной силой убежденности! Сверхчеловеческое дыхание чувствуется в проявлениях, далеких от мирской музыки, которая никогда не могла достичь непостижимого величия этой ногой песни!»

Изысканна была в Сен-Северине вся вообще обедня. Глухой и пышный «Kyrie eleison»²¹. Восторгом дышала «Gloria in excelsis»²², в которой участвовали два органа. Один играл соло,

¹⁹ Верую (лат.).

²⁰ Вочеловечившегося (лат.).

²¹ Господи, помилуй (лат.).

²² Славься в Вышних Богу (лат.).

а другой управлял певчими и подкреплял их. Сумрачный, почти угрюмый гимн сочетался с хоровым кликом «Hosanna in excelsis»²³, устремляясь в высь сводов. Слабой, прозрачной мелодией поднимался «Agnus Dei»²⁴ в созвучиях, молящих и столь смиренных, что они не смели, казалось, восстать.

За исключением «Salutaris», впитавшей в себя, как и в других храмах, частицу контрабанды, Сен-Северин хранил за обычным воскресным служением музыкальную литургию и воспевал ее почти благоговейно хрупкими голосами детей и прочно обработанными мощными басами. Восторженно погружался Дюрталь в пленительную обстановку Средневековья, в этот пустынный мрак и в эти песнопения.

Под конец он чувствовал, что весь потрясен до глубины души и пронизан нервными слезами. В нем поднимались все прегрешения его жизни. Охваченный неопределенными страхами, туманными вопросами, которые душили его, не находя ответа, он проклинал свое позорное существование, клялся раздавить вождедения своей плоти.

Потом, когда кончалась обедня, он бродил по церкви, восторгаясь стремлением ввысь сводов, которые соорудили четыре века, накладывая необычные следы, сказочные отпечатки в узоре выпуклой резьбы, расцветшей под опрокинутую колыбелью сводов. Эти века объединились, чтобы повергнуть к стопам Христа сверхчеловеческое напряжение своего искусства, и до сих пор еще можно было видеть дары каждого из них. XIII век высек низкие, тяжелые колонны, капители которых венчались кувшинчиками, словно каплями воды, широкими листьями, в крючковатых завитках изгибавшимися, точно епископские посохи. XIV век воздвиг рядом промежуточные колонны, по бокам которых пророки, монахи и святые поддерживают своими телами давящую тяжесть арок. XV и XVI века создали апсиду, алтарь, несколько витражей в окнах, расположенных вверху хор; и несмотря на поправки невежд, они сохранили истинно трогательную наивность.

Казалось, что их создавали предки Эпинальских иконописцев, испестрив резкими тонами. Жертвователи и святые, выступавшие на этих прозрачных картинах в каменных рамках, все казались нескладными и задумчивыми, а их облачения, цветов желтого, зелено-бутылочного, иссиня-голубого, красносморозинного, фиолетового, волчьей ягоды или винной гущи, еще резче оттенялись по сравнению с телами, краски которых или погибли, или остались незаполненными в бесцветности стекла. Христос на кресте, светлый и прозрачный, выделялся в одном из окон среди лазурных бликов неба и красно-зеленых крыльев двух ангелов, лики которых были будто иссечены из хрусталя и наполнены светом.

В отличие от витражей других церквей, окна эти поглощали лучи солнца, не преломляя их. Их, несомненно, с намерением лишили способности отражения, чтобы дерзкой игрой искрометных драгоценностей не оскорбить скорбного уныния храма, который высился в смрадном закоулке квартала, населенного оборванцами и нищими.

Дюрталя осаждали мысли: «Бездейственны современные парижские базилики. Глухи к молитвам, разбивающимся о ледяное равнодушие их стен. Разве возможно сосредоточиться в храмах, где ничего не оставили после себя души? Казалось, что Господь навсегда покинул омраченные запустением алтари, что претворяясь в Святых Тайнах, Он тотчас же удаляется, когда таинство совершилось. Казалось, Он отвращается от этих зданий, предназначенных не Ему одному и в своем низменном облике могущих служить целям самым нечестивым. Лишенные святости, они не несут единственных угодных Ему даров – даров искусства, которые даровал он человеку, чтобы лицезреть себя в возносимых ему образах, в малом виде отражающих сотворенное Им, чтобы радоваться цветению злаков, семена которых сам Он заронил в души, заботливо Им отмеченные, истинно избранные вслед за душами святых!»

²³ Осанна в Вышних Богу (лат.).

²⁴ Агнец Божий (лат.).

Совсем иные милосердные храмы Средневековья, церкви влажные и закопченные, полные древних песнопений, вдохновенной живописи и аромата гасимых восковых свечей и благовоний сжигаемого ладана!

Немного осталось в Париже образцов этого минувшего искусства, святынь, камни которых действительно источали веру. И Сен-Северин казался Дюрталю изысканнее и глубже, чем другие. Лишь здесь чувствовал он себя как дома и был убежден, что если суждено ему когда-либо молиться о спасении своем, то не в какой другой, а именно в этой церкви, где одухотворенными казались ему даже своды. Невозможно, думал он, чтобы колонны и стены не пропитались навсегда пылкими молитвами, сокрушенными рыданиями Средневековья. Невозможно, чтоб от тех недосыгаемых времен в этом винограднике скорби, где святые собирали некогда гроздь горячих слез не сохранились бы эманации, укрепляющие отвращение к греху, изливания, возбуждающие покаянный плач!

Подобно святой Агнессе, пребывавшей незапятнанной среди поругания, храм этот непомерно стоял среди окружающего срама, и совсем вблизи, в двух шагах отсюда, на улицах, толпа современных негодяев, одурманенная напитками преступлений, водкой и подкрашенным абсентом измышляла злодеяния вместе с продажными женщинами.

Церковь стояла в краю, обреченному сатанизму, зябко кутаясь в лохмотья хижин и харчевен. Издалека виднелась над крышами ее хрупкая колокольня, подобная заостренной игле, в которой помещался крошечный колокол. Такой казалась она, по крайней мере, с площади Сен-Андре, покровителя художеств. Символически ощущался призыв, который несли эта колокольня, этот колокол, душам, ожесточенным и изъязвленным пороками, призыв, всегда ими отвергаемый.

И Дюрталь вспоминал, что невежественные архитекторы и бездарные археологи хотели освободить Сен-Северин от лачуг и опоясать его деревьями, заключить в рамку сквера! Точно не пребывал он всегда в сплетении темных улиц! Уничужение его добровольное и стоит в согласии с жалким кварталом, которого он покровитель. В Средние века памятник этот привлекал лишь своей внутренностью и не принадлежал к числу величественных базилик, воздвигнутых на открытых больших площадях.

Он был молельней бедняков, храмом, коленопреклоненным, а не величавым. И высшею бессмысленностью было бы вырвать Сен-Северин из его среды, отнять у него вечные сумерки, всегда окутывающий его мрак, утончающий его красоту смиренной служанки, молящейся за нечестивую ограду лачуг!

«Ах, если б окунуть его в горячую атмосферу улицы Нотр-Дам-де-Виктуар и прибавить к его скудному хору мощную капеллу Сен-Сюльписа. Был бы достигнут идеал!.. – мысленно восклицал Дюрталь. – Но, увы! Нет здесь, на земле, ничего цельного, ничего совершенного!»

Это был единственный храм, который пленял его своей художественной красотой. Собор Парижской Богоматери отвращал Дюрталя своей громадностью и слишком изобиловал туристами: к тому же редко совершалось в нем торжественное служение. Большая часть приделов бездействовали, и молитвы отпускались в количестве, не более положенного. Наконец, детские голоса хора отталкивали своей хрупкостью, а преклонные лета басов придавали им водянистый оттенок. Еще хуже было в Сен-Этьен-дю-Мон. Здание храма отличалось красотой, но хор напоминал вспомогательное отделение зверинца: создавалось впечатление псарни, в которой завывает на разные голоса стая больных собак. Никакой цены не имели также другие храмы на Левом берегу Сены. Из них по возможности изгонялись древние песнопения, и повсюду слабость голосов соединялась с вольными напевами.

Церкви на Правом берегу хранили большее постоянство: религиозность Парижа ограничивается кварталами на этой стороне Сены и исчезает, если перейти мосты.

В общем, подводя итог, он проникался убеждением, что наития и блаженное искусство древнего нефа Сен-Северина и торжественные обряды и песнопения Сен-Сюльпис привели его к христианскому искусству, а оно устремило его к Богу.

Раз ступив на этот путь, он прошел его до конца. Начав с музыки и зодчества, блуждал потом в таинственных областях других искусств, и верования его еще сильнее укрепились долгими стояниями в Лувре, погружением в требники, в творения Рейсбрука, святой Терезы, святой Екатерины Генуэзской и Магдалины де Пацци.

Но слишком свеж был пережитый им поворот воззрений, чтобы могла утихнуть его все еще смятенная душа. Мгновениями она, казалось, стремилась вспять, и он смирял ее, сопротивляясь. Истомлялся в умствованиях над самим собой, приходил к сомнению в искренности своего обращения, говорил себе: «В сущности, к церкви меня влечет только искусство. Я иду туда не молиться, а видеть или слушать, ищу не Господа, а наслаждений. Это не глубоко! Точно в теплой ванне, где мне не холодно, пока я сижу неподвижно, и где я зябну, пошевелившись, так и в церкви, когда я не двигаюсь, утихают мои порывы. Я чуть не пылаю в ее нефе, остываю в преддверии и совершенно леденею за ее порогом. Меня притягивают к ней литературные запросы, колебания нервов, распаленность мыслей, причуды духа, все, что хотите, но не вера».

Но еще больше, чем эта потребность вспомогательных средств к умилению, тревожило его чувственное беспутство, бушевавшее в нем, сочетаясь с благочестивой думой. Подобно обломку, носился он между церковью и любострастием, и они поочередно отдавали его друг другу, насильственно отторгая от берега, к которому он приблизился, и сейчас же отталкивая к противоположному. Он даже спрашивал себя, не жертва ли он, обманутая бессознательным притворством своих низменных страстей, которым нужна животворная утеха ложного благочестия.

Сколько раз совершалось с ним чудо, когда он чуть не в слезах выходил из Сен-Северина. Неведомо почему, безотносительно к мыслям, без постепенных переходов, независимо от ощущений, разгорались его чувства, а он не улавливал даже трепетания зажегшей их искры и сознавал свое бессилие бороться и не мог выждать, пока они потухнут сами собой.

После он проклинал себя, но было уже поздно! И тогда его охватывало противоположное стремление: он жаждал поскорее укрыться куда-нибудь в церковь, омыть там душу, но был так противен себе, что, иногда дойдя до дверей, не решался войти.

Случалось, он, наоборот, возмущался и яростно восклицал: «Наконец, это глупо, я отравил единственное удовольствие, которое мне оставалось – наслаждение плоти. Я наслаждался раньше и не испытывал никакого отвращения; теперь я муками расплачиваюсь за свой несчастный хмель. Еще одну лишнюю горесть вплеп я в мою жизнь. Ах, если б вернуться назад!»

И тщетно лгал он перед собой, пытался оправдываться, внушал себе сомнения.

«А если все это неправда? Если нет ничего? Если я ошибаюсь и если правы свободные мыслители?»

Но сейчас же становился жалок себе, отчетливо чувствуя, что владеет несокрушимым запасом истинной веры в глубине души.

«Мои сомнения ничтожны, и презренны оправдания, которые я подыскиваю своему распутству, – думал он, и в нем загоралось пламя восторга. – Несомненна истина догматов церкви, и бессильно отрицание ее божественного величия.

Не говоря уже о надчеловеческом искусстве церкви и ее мистике, разве не удивительна немощная слабость побежденных ересей? От сотворения мира все они опираются на плоть. По правилам человеческой логики, казалось бы, следовало ожидать их торжества, раз они позволяли мужчине и женщине удовлетворение страстей, не возводя этого в грех, или даже посвящая себя, как, например, гностики, плотской похоти и в ней воплощая Богочитание.

И что стало с ними? Все увяли. А церковь, неумолимая в вопросе целомудрия, осталась цела и невредима. Она предписывает телу умолкнуть, а душе страдать и, как это не неверо-

ятно, человечество послушно ей и, словно мусор, отбрасывает соблазны утех, которыми его прельщают.

Разве не убедительна, наконец, живучесть церкви, уцелевшей, не взирая на неизмеримую тупость ее слуг? Она перенесла темное скудоумие своего духовенства, не дрогнула даже от бездарности своих защитников! В ней истинная сила!

Нет, чем больше я думаю, – восклицал он, – тем она кажется мне более изумительной, единственной в своем роде, тем глубже убеждаюсь я, что она одна владеет истиной, и что вне ее лишь заблуждения духа, обманы, бесчестье! Церковь, небесная целительница душ, божественный питомник. Она лелеет их, растит, врачует и, когда настает час скорби, возвещает, что истинная жизнь начинается не с рождения, а в миг смерти. Церковь непогрешима, надмирна, безмерна...

Да, но значит, надо следовать ее предписаниям, участвовать в установленных ею таинствах!»

И Дюрталь, понутив голову, обрывал свои сомнения.

III

Подобно всем неверующим, он так рассуждал до своего обращения: «Если б я верил, что вечная жизнь не обман, я ни на миг не поколебался бы опрокинуть свои привычки, следовал бы по мере возможности церковному уставу и без сомнения хранил бы целомудрие». И он удивлялся знакомым ему людям, которые, находясь в таком же положении, вели, однако, жизнь столь же грешную, как он. С давних пор привык он измышлять для себя снисходительные оправдания и был неумолим, однако, когда речь заходила о верующих.

Теперь он понял несправедливость своих суждений, осознал пропасть, лежащую между верой и делом, и трудность перейти от одного к другому.

Дюрталь не любил размышлять над этим вопросом, который, однако, преследовал его, не оставляя в покое, и он невольно сознавался, что доводы его ничтожны и презренно его сопротивление.

У него доставало искренности сказать себе: «Я не ребенок больше. Если я верю, то не должен беспрестанно подогревать мою веру проявлениями ложного усердия. Я не хочу компромиссов и перемирий, чередования благочестия и распутства. Нет, все или ничего! Или решиться на переворот до основания, или оставаться неизменным!»

И тотчас отступал, уstraшенный, пытался бежать от решения, к которому склонялся, изоцрялся в оправданиях, размышлял целыми часами, выдумывал самые жалкие мотивы, чтобы оставаться таким, как есть, и не двигаться.

«Что делать? Я чувствую, как все уверенней укореняются во мне эти веления, и, послушавшись их, я подготовлю себе жизнь, полную тягости и угрызений. Нельзя вечно стоять на пороге, я знаю; что должен проникнуть в святилище и остаться там. Но решиться на это... Ах нет, тогда пришлось бы принуждать себя ко множеству обязанностей, примириться с последовательными лишениями, бывать по воскресеньям за обедней, поститься по пятницам, жить святошей и походить на тупицу!»

Подкрепляя свое возмущение, он вдруг вспоминал уродливые физиономии церковных завсегдатаев. На пару людей, имеющих вид разумный и достойный, неисчислимое множество несомненных ханжей и плутов!

Они производят двусмысленное впечатление, обладают елейным голосом, низменным взором, непременно носят очки, одеваются, точно пономари, в длинное черное платье. Почти все напоказ перебирают четки и, более пронырливые и лукавые, чем нечестивцы, они угнетают ближнего своего, предавая с Богом.

Молящиеся женщины раздражают еще больше. Наводнив церковь, они разгуливают по ней, как дома, мешают всем и каждому, двигают стулья, толкаются, даже не думая извиниться. Потом торжественно опускаются на колени, принимают вид скорбных ангелов, бормочут неизменное «Отче наш» и выходят из церкви, став еще язвительнее и высокомернее.

«Вот уж радость, – восклицал он, – смешаться с шайкой этих благочестивых дураков!»

Но сейчас же невольно он говорил себе: «Что тебе за дело до других? Если б ты был смиреннее, эти люди не казались бы тебе такими неприятными.

Во всяком случае, не забудь, у них есть мужество, которого не хватает тебе. Они не стыдятся своей веры, не боятся открыто преклонять колена пред своим Господом».

И Дюрталь, пристыженный, понимал, что возражение это верно. Он сознавал, что ему недостает смирения и, пожалуй, даже хуже того – что он все еще дорожит мнением людей.

«Я боюсь прослыть глупцом, меня страшит возможность быть замеченным в церкви на коленях. Неужели мне невозможно вообразить себя причащающимся, когда необходимо будет встать и идти к алтарю под взорами всего храма.

Нелегко будет вынести мне этот миг, если суждено ему когда либо настать, – думал он. – И, однако, как это глупо, и что мне за дело до мнения незнакомых людей!» Но сколько ни повторял себе Дюрталь, что тревоги его бессмысленны, он не мог отделаться от них, не мог отогнать страх показаться смешным.

«Наконец, если я даже сделаю окончательный шаг, решусь исповедаться и причаститься, то проблема плоти остается по-прежнему. Пришлось бы без колебаний сбросить с себя оковы тела, отказаться от блудниц, соблюдать вечный пост. А этого не достичь мне никогда! Не говоря уже о том, что никогда не терзали меня страсти так, как после моего обращения, я выбрал бы неподходящее время, если б попытался напрячь свои усилия и стать верным сыном церкви».

Его раздражало, что он словно топчется на месте, он пытался избавиться от мыслей навязчивых и докучливых. Но невольно надвигались они на него, и раздраженно напрягал он свой разум, призывал его на помощь.

Стараясь проверить себя, он рассуждал:

– Очевидно, приступы похоти усилились, сделались упорнее после моего приближения к церкви. Несомненно также другое: двадцать лет сладострастия настолько истощили меня, что я мог бы обойтись теперь без телесных вожделений. Если б только искренно захотеть, я был бы, в сущности, в состоянии не преступать целомудрия, но, конечно, для этого мне надо заставить смолкнуть мой бедный мозг, а на это я не способен! Но как ужасно сознавать, что более распаленные, чем в дни юности, блуждают мои страсти, и, наскучив домашним приютом, я ухожу на поиски порочного ночлега! Чем объяснить это? Или моя душа, не выносящая уже обыденного, требует едких мечтаний, острых мыслей? Неужели утрата вкуса к здоровым трапезам породила это алкание причудливых яств, это тревожное стремление вырваться из своего *Я* хотя бы на миг, переступить дозволенные грани чувств?

Так блуждал он, чутко вслушиваясь в себя, и кончил тем, что забрел в тупик, и пришел к такому выводу:

– Я не следую своей религии, потому, что потворствую моим половым инстинктам, а этим инстинктам потворствую, потому, что не следую религии.

Припертый к стене, он упорствовал, однако и спрашивал себя: Так ли справедливо это рассуждение? Где порука, что, приобщившись Святых Тайн, он не подвергнется еще более яростному натиску? Это казалось вероятным, так как демон с особым ожесточением нападает на людей благочестивых.

Потом он возмущался низостью своих возражений и восклицал: «Это ложь, разве я не знаю, что Всевышний мощно поддержит меня, если я выкажу действительную волю защищаться?»

Искусный в самобичевании, он продолжал попрежнему бесцельно копаться в своей душе. Допустим, – рассуждал он, – невозможное: я укротил свою гордость, смирил тело; допустим, что мне остается сейчас лишь двинуться вперед, но я опять остановлюсь, устрешенный еще одной, последнею преградой.

До сих пор я мог идти один, не прибегая к ничьей помощи на земле, не прося ни у кого совета. Никто не помог моему обращению, но теперь мне ни шагу нельзя ступить без наставника. Без поддержки священника мне отрезан доступ к алтарю».

И он снова отступал, вспоминая, как раньше ему случалось знать нескольких духовных лиц, и все они производили на него впечатление людей пошлых, посредственных, а главное, столь чуждых возвышенного, что его возмущала мысль доверить им свои запросы и тревоги. «Они не поймут меня, – размышлял он, – ответят, что мистика была любопытна в Средние века, но теперь вышла из употребления и совсем не вяжется с духом современности. Сочтут меня за сумасшедшего, будут убеждать, что Господь не требует столь многого; улыбаясь, начнут уговаривать не обособляться, поступать, как другие, думать, как они.

Конечно, я не притязаю на предназначение непременно следовать путем мистическим, но пусть не мешают они мне, по крайней мере, жаждать его, не навязывают своего мещанского идеала Божества!

Не будем обольщаться, католицизм не исчерпывается той умеренной религией, которую нам преподносят, не слагается из одних формул и мелочных запретов. Не живет в узких рамках представлений старой девы, в благочестивой обыденности, которая пропитывает улицу Сен-Сюльпис. Он внемирен по-иному и по-иному чист. Но, чтобы обрести его, необходимо проникнуть сквозь пламенный круг, познать в нем начало мистическое, воплощающее искусство церкви, сущность ее, самую душу.

Пользуясь могучими средствами, которыми располагает церковь, человек должен тогда очистить себя, обнажить душу, чтобы мог снизойти в нее, если будет на то воля Его – Христос. Должен вымести сор из жилища, омыть его молитвами и святыми Таинствами. Должен приготовиться, ожидая когда придет Жених.

Я знаю, что исключительные милости Спаситель дарует только избранныкам своим, но все же каждый из нас, даже самый недостойный, таит в себе возможность к достижению величественной цели, ибо решает здесь сам Господь, а от человека требуется лишь смиренное усердие.

Но немислимо рассказывать это священникам. Они ответят мне, что не мое дело погружаться в мистические мысли и взамен предложат елейное ханжество, достойное богатой матроны, захотят вмешиваться в мою жизнь, давить мне душу, навязывать свои вкусы. Попытаются убедить меня, что искусство опасно, преподнесут свои тупоумные книги, вдосталь напоят меня водой своего набожного скудоумия!

И зная себя, я уверен, что первые же две беседы возмутят меня и превратят в безбожника».

Понури голову, Дюрталь задумался, потом продолжал:

«Будем, однако, справедливы: светское духовенство не может быть иным; оно шелуха жатвы душ, цвет которой составляют созерцательные монашеские ордена и воинство миссионеров. Только мистики, священники, спаленные скорбью, самозабвенно рвущиеся к жертве, укрываются в монастыри или уходят в изгнание к дикарям проповедовать Евангелие.

Да, но вопрос не в том, умны или ограничены священники. Не мое дело судить их, отыскивая человеческое ничтожество под священной оболочкой. Не пристало мне порицать их несовершенство, которое в общем делает их доступными пониманию толпы. И разве не доблестнее, не смиреннее, преклонить колена пред существом, скудоумие которого вам известно?

К тому же... разве это неизбежно?

Лично мне известен среди парижского духовенства один истинный мистик. Не повидаться ли с ним?»

Он призадумался о некоем аббате Жеврезе, с которым раньше поддерживал знакомство. Встречался с ним иногда у книготорговца Токана на улице Сервандони, владевшего редчайшими книгами о литургии и житиями святых.

Узнав, что Дюрталь ищет сочинений о Блаженной Людвины, священник сейчас же обратил на него внимание, и они долго беседовали по выходе. Аббат был человек престарелый, ходил с трудом и охотно оперся на руку Дюрталя, который проводил его до дому.

– Какой богатый сюжет – житие этой жертвы грехов своего времени, – говорил он: – Вы помните?

И в общих чертах он широкими мазками воссоздал ее образ.

– Людвины родилась в Голландии, в городке Схидам, на исходе XIV века. Красота ее была необычайна, но на пятнадцатом году от рождения она занемогла и стала безобразной. Повзрослев, она оправилась, но однажды, катаясь на коньках с подругами на льду каналов, упала и сломала себе ребро. С этого времени она до самой смерти была прикована к одру. На

нее обрушиваются самые страшные недуги, воспаления, поражающие ее раны, черви, зарождающиеся в ее гниющем теле. Ее терзает грозная болезнь Средневековья – священный огонь. Разъедена ее правая рука, и уцелела всего одна лишь жила, которая не позволяла руке отпасть от тела. Сверху донизу расщелился ее лоб, один глаз закрылся, а другой так ослабел, что совсем не выносил света.

Чума между тем свирепствует в Голландии, опустошает город, в котором жила Людвина. Она одна из первых жертв. Появляются две язвы. Одна под мышкой, другая в области сердца. Две язвы хороши, взывает она ко Господу, но еще милее были бы мне три, во славу Пресвятой Троицы, и сейчас же третья язва разъедает ей лицо.

Тридцать пять лет прожила она в подвале, вкушая скудную пищу, в молитве и слезах; зимой так коченела, что слезы застывали у нее вдоль щек двумя ручьями.

Но, почитая себя все еще слишком счастливою, она молила Господа не щадить ее и жаждала, чтобы даровано ей было своими муками искупить грехи других. И Христос внимал блаженной, снисходил к ней со своими ангелами, причащал собственноручно, пленял небесными восторгам, и благоухания источались из ее ран.

А когда настал смертный ее час, Господь поддержал святую и вернул совершенство ее измученному телу. Воссияла красота, давно исчезнувшая. И заволновался город, толпой стекались недужные, и исцелялся всякий, кто приближался к ней. Она истинная покровительница больных, – заключил аббат и, помолчав, продолжал: – Жизнь Людвины необычайно поучительна с точки зрения высокой мистики: по ней можно проверить закон жертвенности, который оправдывает бытие монастырей...

Встретив вопросительный взгляд Дюрталь, аббат продолжал:

– Вы знаете, что монахини издревле обрекали себя Небу жертвой искупления. Многочисленны жития святых, которые жадно стремились к жертве и смывали людские прегрешения муками, пламенно вымоленными, и стойко переносимыми. Эти дивные души домогаются подвига еще более тяжкого и горестного. Не довольствуясь очищением грехов ближнего, они заменяют собою людей, которые по слабости не способны противостоять искушению.

Прочтите про святую Терезу. И вы увидите, что она молила возложить на нее бремя искушений, предназначенных некоему священнику, который не мог бы претерпеть их, не соблазнившись. Такая замена, когда душа могучая освобождает немощную от непосильных ей страхов и опасностей, принадлежит к числу великих правил мистики.

Иногда помощь эта бывает чисто духовной, иногда, наоборот, направляется исключительно на болезни тела. Святая Тереза сменяла застигнутые бедой души, сестра Катерина Эммерик подкрепляла слабых телом, принимала на себя болезни наиболее тягостные. Она могла вынести, например, муки двух женщин, чахоточной и пораженной водянкою, и тем позволила им в мире приуготовиться к смерти.

Так вот! Людвина собрала все болезни тела. Ее спалила жажда физических страданий, ненасытное алкание ран. Она как бы срезала жатву мук, являя собою тот сосуд милосердия, куда каждый изливал чрезмерность своего горя. Если вы хотите рассказать о ней по-иному, чем скромные священнописцы, современники, то изучите сперва закон замены, – это чудо недостижимого милосердия, сверхчеловеческую победу мистики. Он будет стеблем вашей книги, на котором расцветут все деяния Людвины.

– Творится ли закон этот в наше время? – спросил Дюрталь.

– Да, я знаю монастыри, которые осуществляют его. Некоторые ордена – кармелитки, сестры святой Клары – ревностно стремятся к приятию чужого горя. Монастыри эти погашают, так сказать, дьявольские обязательства, предъявленные к платежу душам несостоятельным, долги которых они уплачивают начисто!

– Какова же должна быть уверенность в своей непоколебимости, когда человек соглашается навлечь на себя натиск, predeterminedный ближнему? – заметил, наклонив голову, Дюрталь.

– Редки, в общем, монахини, избираемые Господом нашим искупительной жертвой, обрекаемые на заклятие, – отвечал аббат. – Они обычно вынуждены объединяться, вступать в союзы, чтобы, не колеблясь, нести бремя искупаемого ими греха. В одиночестве душа способна устоять против нападков сатаны, иногда яростных, если ее укрепляют ангелы и избрал Господь...

И после некоторого молчания старый священник прибавил:

– Я полагаю, что право говорить об этих вопросах с уверенностью требует некоторого опыта. Скажу вам, что я один из руководителей монахинь искупительниц, обитающих в монастырях.

– И подумать только, что мир часто спрашивает, к чему нужны созерцательные ордена! – воскликнул Дюрталь.

Аббат отвечал с необычайным воодушевлением:

– Эти громоотводы общества, притягивающие к себе демонический эфир; на них изливается соблазн пороков, они охраняют своей молитвой тех, которые живут во грехе, подобно нам. Они умиротворяют гнев Всевышнего, спасают землю от проклятия. Конечно, достойны почитания сестры, которые посвящают себя уходу за больными и немощными, но как легка их задача по сравнению с той, которую поднимают монастырские ордена, где непрерывно льется покаяние и где рыдают даже по ночам, лежа в постели!

«Однако, священник этот интереснее своих братьев», – думал Дюрталь, когда они расстались. И так как аббат пригласил его к себе, то Дюрталь заходил к нему после того несколько раз.

Всегда он находил у него сердечный прием. При удобном случае искусно расспрашивал он старца о некоторых вопросах. Тот отвечал уклончиво, когда речь заходила о его братьях. Но ценил их не слишком, если судить по высказанному им раз мнению по поводу слов Дюрталя, вновь заговорившего о Людвине, этом истинном магните скорби:

– Мне кажется, что чистой и слабой душе лучше выбрать себе исповедника не среди духовенства, утратившего понимание мистики, но из монахов. Лишь им одним ведомо приложение закона замены. Когда они видят, как кающийся погибает, не взирая на свои усилия, они освобождают его, принимая на себя преследующие его искушения или же перенося их куда-нибудь в иной, глухой монастырь, где им предают себя люди самоотверженные.

Другой раз в газете, которую показал ему Дюрталь, обсуждался национальный вопрос. Аббат пожал плечами и отверг болтовню шовинизма: «Мое отечество, – спокойно высказал он, – если о нем могут искренно молиться».

Кто этот священник?.. Он хорошо не знал этого. Книготорговец сообщил ему, что, ввиду своего преклонного возраста и немощей, аббату Жеврезе не по силам постоянная священническая должность. Иногда, когда может, он совершает еще утреннюю литургию в одном из монастырей. Вероятно, исповедует у себя на дому некоторых своих братьев. И Токан презрительно добавил: «Средства к жизни у него скудные, и за его мистицизм консистория посматривает на него не слишком благосклонно».

На этом обрывались его сведения.

– Не сомневаюсь, что это священник отменный, – повторял Дюрталь. – Это видно по его лицу. Противоречие рта и глаз верное указание его высокой добродетели. Фиолетовые губы, всегда влажные, смеются выразительной, почти скорбной улыбкой, которую отрицают голубые детские глаза, ласково удивленные, под густыми белыми бровями в рамке слегка красноватого лица, подобно спелому абрикосу на щеках усеянного кровяными крапинками.

Во всяком случае, – решил Дюрталь, отрываясь от своих размышлений, – я глубоко не прав, прекратив наше начавшееся знакомство. Да, но, с другой стороны, ничего нет труднее, как войти в истинный, неподдельный духовный мир священника. Духовные уже самым семинарским воспитанием своим приучаются носить личину, избегать исключительных привязанностей. Затем, как и врачи, это люди, заваленные делом, которые никогда не принадлежат себе. С ними встречаешься наспех, между двумя исповедями, двумя посещениями. Притом, никогда нельзя верить в искренность приема, который окажет вам священник. Они относятся одинаково ко всякому, кто ищет с ним сближения. Наконец, не посещал аббата Жеврезе, не домогался его забот или помощи, боясь обременить его, отнять у него время, и потому совестливо избегал свиданий.

Теперь я сожалею. Не написать ли, или просто зайти к нему как-нибудь утром? Но что я скажу ему? Прежде, чем решиться тревожить его, необходимо выяснить, чего же я, собственно, хочу? Прийти и, как всегда, плакаться? Но он ответит, что напрасно я не бываю у причастия, и мне останется лишь замолчать. Нет, всего лучше встретиться с ним будто случайно, как-нибудь на набережной, где он иногда прогуливается, или у Токана. Это дало бы мне возможность побеседовать с ним менее официально, более задушевно о моих тревогах и волнениях.

И Дюрталь стал бродить по набережной, но ни разу не встречал аббата.

Под предлогом просмотра книг, он заглянул к книготорговцу, но едва лишь заикнулся о Жеврезе, как Токан воскликнул:

– Не знаю, что с ним. Он у меня не был уже целых два месяца!

«Довольно колебаний, надо решиться и навестить аббата, – размышлял Дюрталь. – Но он будет недоумевать, зачем я пришел после такого долгого отсутствия. Помимо смущения, которое я всегда чувствую, возвращаясь к людям, с которыми разошелся, какая досада думать, что аббат, увидев меня, сейчас же заподозрит, что пришел я не без цели. Это неудобно. Будь у меня хороший предлог. Не использовать ли житие Аюдвины, которое его занимает? Я мог бы обратиться к нему за рядом указаний. Да, но каких? Уже давно забыл я эту святую, и мне пришлось бы перечесть скудоумные произведения ее жизнеописателей. В сущности, проще всего, достойнее всего действовать откровенно и сказать ему: хотите знать причину моего прихода? Я прошу ваших советов, не имея настолько силы, чтобы им последовать, но мне так необходима беседа, я чувствую такую потребность излить душу, что молю вас сотворить милость и потерять из-за меня целый час.

Конечно, он от всего сердца исполнит мою просьбу.

Значит, решено? Иду завтра?.. Но он сейчас же заколебался. Не к спеху! Всегда успеется. Лучше еще лишний раз обдумать. Ах, но как же я забыл, что скоро Рождество! Непристойно докучать теперь аббату. Многие причащаются в день Рождества Христова, и он, конечно, теперь исповедует своих духовных чад. Обождем, пока отпразднуют Рождество, потом увидим».

Сперва он был в восхищении, что измыслил эту отговорку, потом сознался в душе, что она не очень добросовестна. Не скрывал от себя совершенной бездоказательности своего предположения, так как этот священник, не состоявший при каком-либо приходе, вряд ли был очень занят исповедью верующих.

Он пытался убедить себя в этой возможности, и снова пробудились в нем сомнения. Сокрушенный, наконец, своей душевной распрей, он принял среднее решение. Ради большей достоверности, он отправится к аббату лишь после Рождества, но с условием, чтобы не пропустить самим заранее назначенного себе срока. И, достав календарь, он поклялся сдержать обет идти к аббату через три дня после праздника.

IV

Ах, эта полунощная служба! Ему пришла несчастная мысль прослушать ее под Рождество. Придя в Сен-Северин, он, вместо хора, застал там пансион для приходящих девиц, тоненькими голосками прявших тяжелое руно песнопений. Спасшись бегством в Сен-Сюльпис, он встретил там толпу, которая разгуливала и болтала, точно на ярмарке, и ушел, наслушавшись пошлых маршей, вальсов, бенгальских песнопений.

Церковь Сен-Жермен-де-Пре внушала ему ужас, и он не пытался укрыться теперь в этом храме. Помимо тоски, которую наводили своды ее, тяжелые, плохо реставрированные, и угрюмая живопись, тяжкое наследие Фландрена, духовенство церкви отличалось каким-то особым, отталкивающим неблагообразием, а капелла была просто позорной. Сброд необработанных голосов детей, нестройно визжавших, и пожилых певчих, изготовлявших в своем горле нечто вроде старческой похлебки звуков.

Он даже не подумал о Сен-Тома-де-Аквин, страшась бездарных завываний. Оставалась Сен-Клотильд. Ее хор не такой позорный, его можно по крайней мере, слушать. Но и там он бы натолкнулся на пляску мирских мелодий, на светский шабаш.

Кончилось тем, что, раздраженный, лег он спать с мыслью: нечего сказать, хорошую приготовил Париж музыку для восхваления Божественного Младенца!

Утром, пробудившись, он почувствовал, что у него иссякло мужество бродить по церквям. День стоял довольно ясный; он вышел из дому, блуждал по Люксембургу, миновал перекресток Обсерватории, бульвар Королевского моста и незаметно побрел по бесконечной улице.

Он знал эту улицу уже давно. Часто совершал по ней грустные прогулки, прельщаемый ее пустынным обликом, дышавшим провинциальной глушью. Окаймленная по правой стороне стенами тюрьмы и убежища душевнобольных во имя святой Анны, и монастырями по левой, она располагала к мечтаньям! Поток дневного света лился по руслу улицы, по сторонам которой царил, казалось, темнота. Она походила до известной степени на тюремную аллею, обрамленную кельями, в которых одни претерпевают насильственные временные кары, а другие подвергают себя по доброй воле вечным мукам.

«Она так подходит для картины какого-нибудь из ранних фландрских мастеров», – думал Дюрталь. Вдоль мостовой тянутся этажи домов, раскрытых сверху донизу, точно шкапы. С одной стороны прочные темницы с железными постелями, каменными сосудами, маленькими потайными оконцами в дверях, с тяжелыми засовами. Внутри закоренелые злодеи скрежещут зубами, топчутся на месте, жестковолосые, воющие, словно звери в клетках. Напротив них кельи, со скудным ложем, глиняным кувшином, распятием, также запертые железом коваными дверями. А на плитах пола стоят коленопреклоненные монахи или монахини с пламенными ореолами, обрамляющими их лица, и, воздев глаза к небу, молитвенно сложив руки, в экстазе стремятся душой ввысь, рядом с расцветающей в вазе лилией.

Наконец, в глубине, между двумя вереницами домов идет вверх широкая аллея, в конце которой в небе, украшенном мелкими завитками облаков, Бог Отец восседает с Христом одесную, а хоры серафимов играют вокруг Них на лютнях и скрипках. И неподвижный Бог Отец, увенчанный высокой тиарой, с длинной бородой, покрывающей Его грудь, держит весы, чаши которых приходят в равновесие по мере того, как святые узники молитвами и покаянием своим искупают хулы злодеев и безумцев.

«Бесспорно, что эта улица, – раздумывал Дюрталь, – совершенно особенная, вероятно, даже единственная в Париже. В своем течении она объединяет добродетели и пороки, которые в других округах разветвляются обычно, несмотря на усилия церкви, как можно дальше друг от друга».

В раздумье дошел он до святой Анны; улица сделалась еще мрачнее; дома стали ниже, одноэтажные или двухэтажные; они постепенно редели, связанные промежутками оград, штукатурка которых облупилась.

«Пусть так, – размышлял Дюрталь, – если этому концу улицы чуждо обаяние, зато в нем есть неподдельная интимность. Здесь не надо, по крайней мере, любоваться смешным убранством современных агентств, выставляющих в своих витринах отборные поленья дров и выкладывающих в хрустальные вазы куски антрацита и кокса. А вот улочка действительно забавная!..» Он заметил переулок, круто спускающийся к большой улице, на которой виднелась жестяная трехцветная вывеска прачечной. Прочел название: «Улица Эбр».

Вернувшись, он убедился, что длина переулка всего несколько метров. Справа на всем протяжении тянулась стена, из-за которой выглядывало ветхое покосившееся здание с колоколом. Ворота с четырехугольной калиткой пересекали стену, прорезанную несколькими круглыми окнами, а рядом была небольшая постройка, над которой выделялась колокольня, такая низкая, что вершина ее не достигала даже высоты двухэтажного дома напротив.

На другой стороне лепились друг к другу три домика. Цинковые трубы ползли по стенам, наподобие виноградных лоз, и разветвляясь, точно стебли. Окна зияли под заржавленными свинцовыми наличниками. Угрюмые разваливающиеся лачуги чернели на пустопорожних дворах. На одном стоял навес, где дремали коровы, на двух других виднелись сарай с ручными тележками и плетюшка, из-за стенок которой торчали запечатанные горлышки бутылок.

«Да это церковь!» – догадался Дюрталь, рассматривая маленькую колокольню и три, четыре круглых оконных просвета, вырезанных как бы в картоне, на который походил черный и красноватый известняк стены. Но где же вход?

На повороте переулка он заметил крошечную паперть, которая вела в строение.

Толкнув дверь, он проник в обширное помещение, нечто вроде окрашенного в желтое сарая с низким потолком на поперечных железных брусках, покрытых серой краской, перебитых голубыми полосами и украшенных газовыми рожками, какие бывают в винных погребах. В глубине мраморный алтарь с шестью зажженными свечами, убранный бумажными цветами и золочеными розетками и с маленькой дароносицей на жертвеннике, сверкавшей отблесками пламени свечей.

Грубо расписанные синими и желтыми красками оконные стекла едва пропускали скудный свет. Печка не топилась, и было холодно, а каменные плиты церковного пола не покрыты были ни ковром, ни половиком.

Дюрталь закутался и сел. Понемногу глаз его привык ко мраку церкви, пред ним вырисовывалась странная картина. На рядах стульев против хор застыли неподвижные фигуры, утопавшие в волнах белой кисеи.

Вдруг в боковую дверь вошла монахиня, окутанная с головы до ног большой вуалью. Она направилась вдоль алтаря, остановилась посредине, простерлась ниц, поцеловала пол и поднялась усилием одних бедер, без помощи рук. Безмолвно прошла затем в церковь и задела Дюрталь, который успел рассмотреть под вуалью роскошную мантию молочной белизны, слоновой кости крест на шее и четки у пояса.

Дойдя до входной двери, она поднялась по лесенке на кафедру, высившуюся над всем залом.

«Что это за орден в таких пышных одеждах приютился здесь в жалкой капелле этого квартала?» – недоумевал Дюрталь.

Зал наполнялся понемногу. Мальчики хора в красном, в пелеринах, отороченных кроликовым мехом, зажгли паникадила, вышли и затем ввели священника, молодого и тощего, в подержанном облачении, затканном большими узорами цветов. Он сел и суровым голосом запел первый антифон вечерни.

Дюрталь вдруг обернулся. Изумительные голоса зазвучали на трибуне, исполняя ответствия, в сопровождении фисгармонии. Казалось, что не женские голоса поют, а скорее отроческие, – лишь нежнее, закругленнее, прозрачнее в нотах верхнего регистра, – и мужские, только изысканнее, чище, утонченнее; голоса бесполое, процеженные сквозь богослужения, просеянные сквозь моления, закаленные в горниле слез и боготворений.

По-прежнему сидя, запел священник первый стих неизменного псалма: «*Dixit Dominus Domino meo...*»²⁵

И Дюрталь увидел под сводом на трибуне высокие белые изваяния, которые медленно пели, держа в руках черные книги и воздев глаза к небу. Одна из этих фигур, на минуту освещенная лампадой, немного нагнулась, и под отогнутой вуалью он рассмотрел матово бледное лицо, выразительное и скорбное.

Чередовались строфы вечерних песнопений, исполняемых то монахинями на возвышении, то сидевшими внизу. Капелла наполнилась. Одну сторону заняли воспитанницы какого-то пансиона, в белых вуалях, другую – бедные горожанки в унылых платьях и девочки с куклами. Несколько женщин в деревянных башмаках и ни одного мужчины. Атмосфера становилась необычной. Пламя душ растопило ледяную стужу этой церкви. То не была торжественная вечерня, как служили ее по воскресеньям у Сен-Сюльпис; нет, совершалось богослужение бедняков, вечерня интимная, с сельскими напевами молитв, которым с безграничным усердием внимали верующие, сосредоточившись в тишине.

Дюрталю казалось, что он унесся куда-то вдаль, в глушь деревни, в монастырь. Он чувствовал, как душа его смягчена, убаюкана однообразной глубиной песнопений, и смену псалмов он различал лишь по припеву «*Gloria Patri et Filio*»²⁶, неизменно повторявшемуся в конце каждого псалма.

Его осенил истинный порыв, смутное желание наравне с прочими молиться Непостижимому; овеянный молитвами, до глубины души охваченный этой обстановкой, Дюрталь ощущал, как будто частица *ego* существа откалывается от него и он даже издали приобщается к общей нежности этих чистых душ. Желая излиться в молитве, он вспомнил слова, которым учил святой Пафнутий куртизанку Таис, восклицая: «Недостойна ты произносить имя Господне, молись лишь так: Сжался надо мной Ты, сотворивший меня!» Молитвенно шептал он смиренную фразу, но не любовь, не сокрушение владели им, а отвращение к самому себе, к своей неспособности отрешиться от себя, неспособности любить. Потом он задумал прочесть «Отче наш», но запнулся при мысли, что если взвешивать тщательно слова, то прочесть молитву Господню всего труднее. Не возвещаем мы разве в ней Господу, что «отпускаем должникам нашим?» А сколько действительно прощающих найдется среди тех, которые произносят эти слова? Сколько верующих не лгут, свидетельствуя перед Всеведущим, что они не знают ненависти?

Внезапное молчание церкви прервало его думы. Вечерня кончилась. Заиграла прелюдию фисгармония, и зазвучали голоса всех, запевшие древний рождественский тропарь: «Рожден есть Младенец божественный».

Он слушал, растроганный простодушием этой песни, как внезапно пробудила в нем бесстыдные воспоминания поза девочек, коленопреклоненно стоявших на скамейках.

Брезгливо сопротивляясь, он пытался оттолкнуть натиск позорных мыслей. Но безуспешно. Дюрталя вновь заполонила женщина, одурманившая его своею извращенностью.

Тело закруглялось под кружевами и шелком рубашки, и его дрожащие руки сбрасывали ненавистно пленительные покровы блудницы.

²⁵ Сказал Господь Господу моему... (лат.)

²⁶ Слава Отцу и Сыну (лат.).

Призрак также неожиданно исчез. Взор Дюрталья бессознательно остановился на священнике, который рассматривал его, тихо что-то говоря одному из служек.

Он потерял голову, вообразил, что священник разгадал его думы, хочет изгнать из храма, но, пораженный безумием своей мысли, пожал плечами и, рассуждая спокойнее, решил, что наверное доступ в этот женский монастырь не дозволен мужчинам, и что, заметив его, аббат посылает к нему служку с просьбой удалиться.

И впрямь, тот направлялся прямо на него, и Дюрталь взял уже за шляпу, но прислужник вкрадчивым, заискивающим голосом заговорил: «Сейчас начнется шествие. Обычай требует, чтобы мужчины шли за Святыми Дарами. Сударь, вы здесь единственный мужчина, но господин аббат подумал, что вы не откажетесь участвовать, когда составится процессия».

Измученный этой просьбой, Дюрталь ответил неопределенным жестом, в котором службе послышалось согласие.

«Да нет же, – думал он, – оставшись один. Я вовсе не хочу вмешиваться в церемониал. Во-первых, я в нем ровно ничего не смыслю и, наверное, напутаю, а во-вторых я не намерен выставлять себя на смех». Дюрталь готовился без шума ускользнуть, но было уже поздно. Прислужник принес ему зажженную свечу и пригласил за собой следовать. Тогда против воли он настроил себя на благодушный лад и, непрерывно повторяя мысленно: «Какой у меня, наверное, нелепый вид!», прошел за ним до алтаря.

Там служка остановился и попросил его не двигаться. Капелла вся, как один человек, встала. Пансионерки разделились на две вереницы, предшествуемые женщиной, которая несла хоругвь. Дюрталь выделялся перед первым рядом монахинь.

Пред Святыми Дарами, пред Господом, откинулись вуали, обычно опущенные перед мирянами даже в храме. Дюрталю удалось в течение секунды наблюдать их лица, и его охватило полное разочарование. Он представлял их бледным и строгими, как та монахиня, что мелькнула на трибуне, но почти все они были краснощекие в веснушках и скрещивали жалкие корявые пальцы, потрескавшиеся от мороза. У всех без исключения были одутловатые лица с признаками начинающегося или затвердевшего флюса.

Очевидно, это были дочери деревни. Еще более пошлой наружностью отличались послушницы, в серых рясах, под белыми вуалями. Они раньше работали, наверное, на фермах. И однако, в их устремлении пред алтарем исчезала невзрачность облика и безобразие рук, посиневших от холода, зазубренных ногтей, обожженных щелоком. Глаза, смиренные и целомудренные, легко увлажившиеся слезами умиления под длинными ресницами, оведали благочестивой простотой грубость черт лица. Углубившись в молитву, они даже не замечали любопытных взглядов, ничуть не тревожились, что рядом их рассматривает мужчина.

И Дюрталь завидовал дивной мудрости этих жалких девушек, которые постигли, что безумна воля жизни. Он думал: неведение приходит к тем же выводам, что и познание. Среди кармелиток нередки богатые, красивые светские женщины, которые покинули свет, навсегда убедившись в тщете его радостей. А эти монахини, ничего, без сомнения, не познавшие, узрели наитием ничтожество мира, истину, до которой другие доходят годами опыта. К одной и той же меже пришли они различными путями. Какая ясность духа раскрывается в этом иноческом пострижении! Что случилось бы с этими несчастными, если бы не принял их Христос? Вышли бы замуж за бедняков, изнемогали бы под бременем побоев. Или поступили бы служанками куда-нибудь в таверны, и там их насиловали бы хозяева, над ними издевалась бы челядь, их ожидали бы тайные роды, они изнывали бы, обреченные презрению перекрестков, опасностям побоев! И, ничего не ведая, избегли они всего. Невинные, обитают они вдали от тягостей, вдали от грязи, послушные благородному надзору и самой своей жизнью располагаемые – если только достойны – к восприятию глубочайших восторгов, доступных чувствованию твари человеческой!

И если даже, в общем, по-прежнему они остались стадными животными, то все же они твари стада Господня!

Знак, который сделал Дюрталю служка, оторвал его от размышлений. Сошедший от алтаря священник нес малый потир. Пред Дюрталем извивалось шествие пансионеров, и, миновав ряд монахинь, не принимавших участия в процессии, он со свечей в руке следовал за служкой, который сопровождал священника, держа раскрытый шелковый белый зонт.

Раскатистые скрипучие звуки фисгармонии полились и наполнили храм с высоты трибуны. Стоявшие по сторонам инструмента монахини запели древнюю песнь «Приидите верные», рифмованную в тактах марша. Внизу сестры и верующие после каждой строфы возглашали нежный, умоляющий припев «Приидите, поклонитесь». Процессия обошла несколько раз вокруг капеллы, овеивая склоненные головы фимиамом каминов, которыми кадили при каждой остановке отроки хора, лицом повернувшись к священнику.

«Что же, обошлось, по-видимому, благополучно», – подумал Дюрталь, когда они возвратились к алтарю. Он полагал, что роль его окончена, но не осведомившись на этот раз о его согласии, служка попросил его встать на колени возле причастной ступени перед алтарем.

Ему было не по себе, он чувствовал смущение. Он сознавал, что у него за спиной все пансионеры, весь монастырь, и в непривычном положении ему начало казаться, что в его ноги вколачивают клинья, подвергают средневековой пытке. Его стесняла свеча, оплывающая, грозящая запятнать его воском. Он тихо пошевелился, пытаясь подостлать под колени полы пальто и смягчить тем острие ступеней. Но почувствовал себя еще хуже, задвигавшись. Отекшее тело ныло, и горела озябшая кожа. Пот выступил у него от страха при мысли, что он может обмороком рассеять молитвенное настроение паствы. А церемония казалась бесконечной. Он не слушал сестер, певших на трибуне, и сетовал на длинноту службы.

Наконец настал миг благословения. Увидев себя в такой близости от Господа, Дюрталь невольно забыл свои муки и склонил чело, сожалея, что он выставлен так перед этим стадом дев, словно капитан перед отрядом. И когда колокольчик прозвонил среди глубокого безмолвия, а священник со Святыми Дарами обернулся и, медленно рассекая крестным знаменем воздух, благословил капеллу, распростертую у ног его, то Дюрталь, наклонившись притаился с закрытыми глазами, как бы пытаясь схорониться пред Всевышним, чтобы Он не заметил его среди набожной толпы.

Еще не допели псалма «Восхвалите Господа все языцы», как служка приблизился, чтобы взять у него свечу. Дюрталь чуть не закричал, вставая. Скрипели отяжелевшие колени, и не повиновались ноги. Однако он добрался с трудом до своего места, выждал, пока разошелся народ, и, подойдя к служке, спросил, как название монастыря и ордена этих монахинь. «Они францисканки, миссионерки Пречистой Девы, – отвечал прислужник. – Но вы ошибаетесь, думая, что им принадлежит эта церковь. Это дополнительная капелла, соединенная особым ходом с задним зданием, выходящим на улицу Эбр, которое занимают сестры. Они слушают здесь богослужение по тому же праву, как вы или я, и содержат школу для детей этого квартала».

«Маленькая капелла полна умиления, – думал Дюрталь, оставшись один. – Она под стать закоулку, в котором приютилась, и печальной речке дубильщиков, протекающей дворами по сю сторону улицы Глясьер. В сравнении с собором Парижской Богоматери она то же самое, что по сравнению с Сенной соседка ее Бьевра. Она ручеек церкви, убогий пригород религии!»

Скудны и изысканны бесполое или надтреснутые голоса этих смиренных инокинь! Бог свидетель, как ненавистен мне женский голос в святом месте, голос, в котором, несмотря ни на что, чувствуется скверна. Мне кажется, что женщина всегда несет с собой вечный смрад своих пороков, что она извращает смысл псалмов. Суетность, похоть прорываются в голосе мирянки, крик ее поклонения, сопровождающий музыку органа, в основе своей есть только вопль плотских притязаний, и лишь одними устами произносятся даже в самых мрачных литургических

гимнах ее устремленные к Господу стенания. Женщина оплакивает лишь пошлый идеал земных радостей, которых не могла достичь. Я прекрасно понимаю, почему отвергла церковь ее услуги и почему, боясь осквернить музыкальный покров своих молений, она пользуется головами отрока и мужчины, хотя бы то даже был скопец.

Однако, все меняется в женских монастырях. Несомненно, что молитва, причастие, подвижничество, созерцание, очищая тело и душу, придают источаемым ими звукам особый аромат. Голоса монахинь, в высшей степени грубые и неотделанные, насыщаются целомудренным оттенком наивной лаской чистой любви. Отодвигаются к невинным звукам детства».

И ему вспомнился монастырь кармелиток, который иногда случалось посещать; вспомнились потускневшие, мертвенные голоса, укрывшие в трех нотах остаток своего здоровья, утратившие музыкальные краски жизни, оттенки приволья; голоса, в монастыре сохранившие лишь цвет одежды, которую они, казалось, отражали, – звуки белые и темные, звуки непорочные и сумрачные.

«О, эти кармелитки!» – размышлял Дюрталь, спускаясь по улице Елясьер. И он воскресил в памяти обряд пострижения, воспоминание которого пленяло его всякий раз, как он грезил о монастырях. Он вновь увидел себя утром в небольшой капелле на Рю де Саксон, стрельчатой, испанского стиля, прорезанной узкими окнами с витражами, до того темными, что лучи дня сковывались их красками и не давали света.

В сумеречной глубине возвышался главный алтарь, к которому вели шесть ступеней. Слева большая стрельчатая железная решетка была задернута черным занавесом. С той же стороны, почти у подножья алтаря, в глухую стену врезалась небольшая стрелка, удлиненная и остроконечная, посреди которой зияло четырехугольное отверстие, похожее на пустую раму без картины.

В то утро капелла, обычно холодная и мрачная, блистала множеством свечей, залитая тяжелыми испарениями фимиама – в отличие от других церквей – без примеси росного ладана и камеди. Капелла переполнена была народом. Забившись в угол, Дюрталь обернулся вместе с соседями, следя взором за служками и священниками, которые направлялись к выходу. Вдруг раскрылись врата, и предстал в дневном сиянии кардинал, Парижский архиепископ. Покачивая лошадиной головой с выступающим вперед большим носом, украшенным очками, шествовал он по нефу церкви, согнув высокий стан, склонившись на бок и длинной искривленной, точно лапа краба, рукой благословлял присутствующих.

Вместе со свитой поднялся святитель в алтарь и на аналое преклонил колена. С него сняли пелерину, облачили в шелковую рису с блестящим вытканым серебряным крестом, и началась обедня. Незадолго до причастия тихо раздвинулась за железной решеткой черная завеса, и в голубоватом свете, подобном блеску лунной ночи, перед Дюрталем замерцали белые видения и звезды, трепетавшие в пространстве. Совсем возле решетки он различил очертания коленопреклоненной на полу женщины, неподвижной, тоже державшей свечу, со звездным огоньком. Женщина не шевелилась, но дрожала звезда. Перед самым причастием женщина встала, исчезла и голова ее, словно снятая с плеч заполнила раму черневшего в стрелке отверстия. Нагнувшись вперед, он на миг увидел мертвенный облик, опущенные ресницы. Белое лицо без глаз, подобное мраморным изваяниям древности. Оно исчезло вместе с кардиналом, склонившимся с дароносицей в руке.

Видение мелькнуло так быстро, что он спрашивал себя: не сон ли это? За железным кружевом слышались все те же жалобные псалмопения, строфы медлительные и протяжные, плававшие в неизменных нотах. Блуждающие огни и белые формы двигались в лазурной дымке фимиама. Преосвященный сел и задавал вопросы постригаемой, которая, вернувшись на прежнее место, коленопреклоненно стояла перед ним, отделенная решеткой.

Он говорил тихим голосом, которого нельзя было расслышать. Вся капелла насторожилась, вслушиваясь в произносимые послушницей обеты, но доносилось лишь медленное бор-

мотанье. Дюрталь вспомнил, что, работая локтями, он протискался поближе к галерее и сквозь решетку ограды рассмотрел женщину в белом, расprostертую в рамке цветов. И все монахини вереницей подходили к ней, и, склоняясь, пели успокоительные песнопения, как над усопшей и, точно мертвую, кропили освященной водой!

«Как дивно! – воскликнул он, потрясенный на улице воспоминанием об этой сцене, и подумал: – Жизнь! Жизнь этих женщин! Спать на волосяном тюфяке без подушек и одеял. Поститься семь месяцев в году, за исключением праздников и воскресений; не присаживаясь, есть лишь овощи и скудную пищу. Обходиться без топлива зимой; часами распевать псалмы на ледяных плитах, истязать свое тело, в наивысшей степени унижения, и с радостью исполнять, несмотря на изнеженное воспитание, работы самые грубые, даже мытье посуды. Молиться весь день с утра и до полуночи, пока не упадешь в изнеможении, молиться так до самой смерти. Или суждено им сжалиться над нами и посягнуть на искупление уродств этого мира, который считает их истеричками и безумными, потому что неспособен постичь мучительные восторги этих душ!»

Не слишком льстит нашему самонадеянию, когда задумаешься о кармелитках или хотя бы смиренных францисканках, бесспорно менее утонченных. Правда, орден последних не созерцательный, но все же устав его достаточно суров, и жизнь настолько тягостна, чтобы уравновесить и искупить своими молениями и подвижничеством излишества города, который они охраняют.

Он вдохновился, размышляя о монастырях. «Ах! если б укрыться там, спастись от масок жизни. Не зная: выходят ли книги, печатаются ли журналы, навсегда отрешиться от всего, что творится среди людей, за порогом кельи! И совершенствовать благостное безмолвие замкнутой жизни, питаться изливаниями благодати, утоляя свою жажду древними напевами, насыщаясь неистощимым блаженством литургий! Кто знает? А что, если усилием просветленной воли и пламенной молитвой можно достичь наития Его, общения с Ним, ощущения близости Его!.. Он воскрешал в памяти радости, дарованные аббатствам, в которых обитал Христос. Вспоминал дивный монастырь Унтерлинден, возле Кольмара, где в XIII веке не одна, не две монахини, но поголовно вся обитель самозабвенно испускали восторженные вопли перед Иисусом. Инокнии уносились в надземность, внимали песнопениям серафимов, бальзам сочился из их изнеможенных тел, они делались прозрачными, венчали себя звездным ореолом. Все формы созерцательной жизни проявлялись в обители, олицетворявшей возвышенную школу мистики».

Плененный этими видениями, очутился Дюрталь у своего порога, не помня пройденного им пути. Когда он добрался до своей комнаты, то его душа раскрылась. Он жаждал благодарить, просить милости, призывать неведомо кого, жаловаться неведомо на что. Но вдруг прояснилась потребность излиться, освободиться от самого себя, и он произнес, обращаясь к Приснодеве:

«Сжался надо мной, выслушай меня! Я готов на все, лишь бы не оставаться таким, как есть, не продолжать этой колеблющейся бесцельной жизни, этих напрасных походов. Прости мне, нерадивому, Пресвятая Дева, что нет у меня смелости ополчиться, восстать на самого себя! Ах, если б захотела ты! Я сознаю, что дерзостно мне молить тебя, мне, у которого не хватает даже решимости совершить переворот души, очистить ее подобно сосуду нечистот, пронзить ее до самой сердцевины, чтобы струился оттуда гной, и отпали тлетворные наросты, но... не суди меня, я так слаб, так неуверен в себе, и я невольно отступаю!»

Но все же как бы я хотел бежать отсюда, бежать за тысячу лье от Парижа, не знаю куда, в монастырь! Бог мой! Безумна речь моя к Тебе, я сознаю, что не выжить мне и двух дней в монастыре, и прежде всего туда меня не примут!»

И он задумался.

«Единственный раз, когда я стал мягче и чище, чем всегда, и ничего другого не нашел сказать Деве, кроме безумств. А, кажется, чего проще было бы просить у нее прощения, умолять сжалиться надо мной, помочь мне противостать покушениям моих пороков, освободить меня от дани моим нервам, от оброка сладострастия.

Все равно, – решил он, поднимаясь, – довольно! Сделаю, по крайней мере, что могу. Не откладывая, пойду завтра к аббату, объясню ему свою душевную борьбу, а там увидим!»

V

Он почувствовал истинное облегчение, когда служанка ответила, что аббат дома. Войдя в маленькую гостиную, он ждал, пока священник, голос которого доносился из смежной комнаты в беседе с кем-то посторонним, останется один.

Оглядевшись в небольшой комнате, он убедился, что ничто не изменилось со времени его последнего прихода. Тот же диван, обитый бархатом, когда-то алым, а теперь с годами поблекшим, приобретшим темно-розовый цвет малинового варенья, намазанного на хлеб. Два вольтеровских кресла стояли по бокам камина, украшенного часами в стиле ампир и двумя фарфоровыми вазами со стеблями сухого тростника. Под древним деревянным распятием, в одном из углов, у стены стоял аналой со ступенью для колен. Посредине круглый стол, несколько благочестивых гравюр на стенах, вот и все. «Это напоминает гостиницу или жилище старой девы», – думал Дюрталь. Вульгарность мебели, выцветшие шелковые занавеси, стены, оклеенные бумажными обоями с букетиками мака и полевых цветов неопределенных красок, – все это напоминало сдаваемые помесечно меблированные комнаты. Но некоторые особенности: прежде всего изумительная опрятность комнаты, вышитые подушки на диване, плетеные круглые коврики под стульями, похожая на цветную капусту гортензия в горшке, обернутом кружевом наводили на мысль о жилище богомолки, ничтожном и холодном.

Недостает только клетки с чижиком, фотографий в плюшевых рамках, раковин, подушек.

На этом прервал думы Дюрталя вошедший аббат, с ласковым упреком за долгое отсутствие, протянувший ему руку. Дюрталь, как мог, извинялся, ссылаясь на неожиданные занятия, долгие заботы.

– А что наша блаженная Людвина? Как подвигается?

– Ах, я еще не начал ее жизнеописание. Право, мне не подойти к ней в моем теперешнем душевном настроении.

Священника удивил унылый ответ Дюрталя.

– Объясните, что с вами? Не могу ли я вам чем помочь?

– Не знаю, аббат, мне как-то совестно докучать вам таким вздором...

И он дал вдруг волю чувствам, излил случайными словами свои жалобы, сознался в половинчатости своего обращения, в борьбе с непокорной плотью, в боязни людского мнения, в своей чуждости предписаниям церкви, в своем отвращении ко всякому игу, ко всем установленным обрядам.

Аббат невозмутимо слушал, подперши рукою подбородок.

Когда Дюрталь смолк, он заговорил:

– Вам за сорок. Вы перешли тот возраст, когда пробуждающаяся плоть внушает искушения, независимо от зова наших мыслей. Сладострастные мысли встают, наоборот, в воображении прежде, чем трепещут чувства. Задача не столько в борьбе с вашим уснувшим телом, сколько с душой, которая подстрекает его и смущает. С другой стороны, вас тянет расходовать на что-нибудь неиспользованные запасы вашей нежности. У вас нет ни жены, ни детей, на которых бы вы могли их тратить. Вы кончаете тем, что потребность любви, отталкиваемую безбрачием, несете туда, где ее место с самого начала. Стремитесь в церквах утолить ваш духовный голод и в то же время колеблетесь, робеете принять окончательное решение, не в силах порвать раз навсегда с пороками, и пришли к такому удивительному компромиссу. Влечетесь к церкви, а внешние проявления вашего душевного влечения расточаете на блудниц. Если не ошибаюсь, это точный подсчет ваших душевных треволнений. Но, Бог мой, зачем сетовать! Важно, что женщину вы любите только телесно. Милостью Неба вы утратили способность чувственной любви, и я уверен, что стоит вам лишь захотеть, и все уладится!

– Священник снисходителен, – подумал Дюрталь.

– Да, но нельзя вечно сидеть между двух стульев, – продолжал аббат. – Настанет миг, когда надо будет избрать один из них и оттолкнуть другой...

И, взглянув на Дюрталь, который безмолвно понурил голову, спросил:

– Молитесь ли вы? Я не спрашиваю об утренней молитве. Я знаю, что не призывают, пробуждаясь, по утрам Господа все те, кто, подобно вам, кончает избранием пути божественного, проскитавшись долгие годы иными случайными дорогами. На заре душа чувствует себя добрее, мнит себя крепче и сейчас же пользуется преходящим подъемом, чтобы забыть о Боге. Но с ней происходит то же, что и с больным телом. Страсти обостряются с наступлением ночи, пробуждаются усыпленные скорби, расплывается дремавший жар крови, воскресают постыдные дела, раскрываются раны. И тогда душа помышляет о Божественном Чудотворце, помышляет о Христе. Молитесь ли вы вечером?

– Иногда... Это так трудно! После полудня еще легче, но сами вы справедливо говорите, что зло расцветает, когда угасает день. Порочные мысли без усталости проносятся тогда в моем мозгу! Можно ли сосредоточиться в такие мгновения!

– Почему не укрываетесь вы в церкви, если чувствуете, что не в силах им сопротивляться дома или на улице?

– Их запирают, когда они всего нужнее. Духовенство скрывает Иисуса, как только ниспадает ночь!

– Знаю. Большинство церквей, правда, закрыты, но некоторые отворены до поздней ночи. Таковы, например, Сен-Сюльпис. Есть, наконец, еще одна, которая открыта всегда по вечерам и непрерывно дарует своим богомольцам молитвы и спасительные песнопения. Я думаю, вы знаете, это Нотр-Дам-де-Виктуар.

– Да, аббат. Она оскорбительно безобразна, жеманна, причудлива, а ее певчие издают подлинно маргаритовые звуки! Я не пошел бы туда, как к Сен-Сюльпис или Сен-Северин, любоваться искусством древних «странноприимников Господа Бога» или слушать вещи и трогательные мелодии церковных песнопений. С эстетической точки зрения Нотр-Дам-де-Виктуар ничтожна, и если я захожу туда, то лишь потому, что одна в Париже она владеет неотразимым притяжением истинного благочестия, только в ней сохранилась неприкосновенной утраченная душа минувшего. Когда ни прийти, вы застаёте распростертых молящихся. Она всегда полна, отпирают ли ее или запирают. В ней непрерывный прилив и отлив богомольцев, стекающихся из всех кварталов Парижа, со всех концов провинции. И кажется, что несомыми с собой молитвами каждый из них питает неугасимое пламя веры, огни которой возрождаются под закопченным сводом, подобно тысячам свечей, теплящимся в непрерывной смене с утра до вечера пред Пречистой.

Вы знаете, я ищу в церквях уголки самые пустынные, закоулки самые мрачные, ненавижу людные сборища и, представьте, я почти доволен, мешаясь там с толпой. Уйдя в себя, люди связуются в этом храме взаимной помощью. Вы не замечаете окружающих вас тел, но ощущаете дыхание веющих вокруг душ. Как бы ни был огнеупорен или напитан влагой человек, он все же загорится наконец от этого пламени, и с удивлением увидит, что стал вдруг чище. Мне кажется, что молитвы, которые слетали с губ и упали раньше изнеможенные, оцепенелые, на землю, здесь окрыляются, подкрепленные другими, оживают и, воспламеняясь, парят!

У Сен-Северина я уже испытал это ощущение помощи, источаемой колоннами, ниспадающей со сводов, но, сравнивая, нахожу, что мощь здесь слабее. Быть может, после Средневековья храм этот лишь потребляет, но не обновляет, хранимый в нем запас небесных истечений, тогда как у Нотр-Дам-де-Виктуар живительный родник, бьющий из плит пола почерпает приток в непрерывном присутствии пламенной толпы. В первом вас подкрепляет самая церковь и запечатленный камень, и рвение переполняющего храм народа – во втором.

И я поддаюсь причудливому впечатлению, что привлеченная таким избытком веры Приснодева лишь навещает, лишь временно посещает другие церкви, но ее истинное пребывание, подлинное ее жительство – в стенах Нотр-Дам-де-Виктуар.

Аббат усмехнулся:

– Я вижу, вы любите и знаете эту церковь, хотя она расположена не на нашем левом берегу. Как то раз вы говорили мне, что она – единственный храм, бодрствующий по ночам.

– Да, и это тем удивительнее, что она находится в чисто торговом квартале, в двух шагах от Биржи, которая посылает ей свои мерзостные крики!

– Она сама была когда-то Биржей, – ответил аббат.

– Как?

– Ее освятили монахи, после чего она служила капеллой босоногим августинцам, а во время революции подверглась чрезмерным поношениям. В стенах ее помещалась Биржа.

– Я этого не знал! – воскликнул Дюрталь. Аббат продолжал:

– Но с ней совершилось то же, что со святыми, которые в молитвенных подвигах вновь обрели, если верить их жизнеописаниям, свою ранее утраченную девственность. Нотр-Дам-де-Виктуар омылась от бесчестия и, несмотря на свою относительную юность, окроплена ангельскими, пропитана божественными соками. На немощные души она действует, как некоторые целебные курорты на тело. В ней подвергают себя люди длительному врачеванию, творят девятидневные молитвы, достигают исцеления.

Возвращаясь к нашему разговору, я подам вам благоразумный совет. В тяжелые вечера посещайте вечернюю службу в этом храме. Я убежден, что вы будете выходить очищенным, истинно умиротворенным.

«Немного же он мне предлагает», – подумал Дюрталь и ответил после унылого молчания:

– Но даже допустим, аббат, что я в те часы, когда осаждают меня искушения, буду уходить в Нотр-Дам-де-Виктуар или слушать богослужение в других церквях; допустим, что я начну даже бывать на исповеди и причащаться Святых Тайн, но разве принесет это мне что-нибудь? Выйдя, я встречу женщину, которая распалит мою плоть и чувства, как случилось, когда я взволнованным уходил от Сен-Северина. Меня погубит потрясение, навеянное на меня святыней, и я последую за женщиной.

– Почем знать! – И, внезапно поднявшись, священник заходил по комнате. – Вы не должны так говорить. Действие Святых Даров непреложно. Не одинок уже человек, который причастился. Он вооружен против других и защищен от самого себя. – И, скрестив перед Дюрталем руки, он воскликнул: – Губить душу свою ради наслаждения, исторгнуть из себя частицу грязи!.. Да, такова ваша плотская любовь! Что за безумие! Неужели вам не отвратительна она со времени вашего самоотрицания?

– Да, отвратительна, но лишь после того, как насытитесь смрад моего я. О, если б достичь мне истинного раскаяния!..

– Не тревожьтесь, – заметил аббат садясь, – вы обретете его... – И, увидя, что Дюрталь понурил голову, он продолжал. – Вспомните слова святой Терезы: «Мука начинающих в том, что они не могут определить, истинно ли раскаяние их в прегрешениях; и, однако, доказательством последнего служит их чистосердечное решение служить Господу». Обдумайте эту фразу; она применима к вам, и переполняющее вас отвращение к грехам вашим свидетельствует о раскаянии. Вы жаждете служить Создателю, если ищете пути к Нему.

Наступило мгновенное молчание.

– Итак, господин аббат, что посоветуете вы мне?

– Снова предложу вам молиться, молиться всюду, где можете, у себя дома, в церкви. Я не прописываю вам никакого религиозного снадобья, но просто приглашаю вас с легким сердцем испытать несколько правил гигиены благочестия. Потом увидим.

Дюрталь сидел в нерешимости, напоминая больных, недовольных врачами, которые, потешая их, назначают бесцветные лекарства.

Священник рассмеялся.

– Сознайтесь, – заговорил он, смотря ему в лицо, – сознайтесь, что вы думаете: не стоило беспокоиться, я ни на шаг не подвинулся вперед. Очевидно, этот добряк священник применяет выжидательное лечение. Вместо того, чтобы пресечь мои бури сильнодействующими средствами, он водит меня за нос, советует во время вставать, беречься холода...

– Ничего подобного, аббат, – уверял Дюрталь.

– Я не смотрю на вас, как на ребенка или женщину. Выслушайте меня. Для меня вполне ясно, как произошло ваше обращение. Вы испытали на себе воздействие, которое мистик называет Божественным прикосновением. Особенность вашего случая состоит в том, что Господь без человеческого вмешательства, даже без помощи священника выводит вас на путь, с которого вы свернули более двадцати лет тому назад.

Нелепо было бы предположить, что Создатель может оставить дело свое неоконченным. Он довершит его; не создавайте только помех.

Сейчас вы – начатое творение в руках Его, и что сделает Он из вас, я не знаю. Но, если отметил Он попечением душу вашу, то дайте ему действовать. Терпите, и Он проявит себя. Доверьтесь, и Он поможет вам. Без ропота повторите вслед за псалмопевцем: «*Доce те асеге voluntatem tuam, quia Deus mens es tu*»²⁷.

Повторяю, я верю в непреложное могущество Святых Тайн. Я прекрасно понимаю систему отца Миллерио, понуждавшего к принятию Святых Даров людей, которые после причастия вновь впадали, по мнению его, в грехи. Не налагая никакой епитимьи, он только заставлял их причащаться и достигал очищения, усиленно насыщая их Телом и Кровью Христовыми. Учение это возвышенное и построено на опыте.

– Но успокойтесь, – продолжал, взглянув на Дюртала аббат, которому показалось, что тот смущен. – Я не намерен способ этот испытывать на вас. Наоборот, по моему мнению, лучше воздержаться вам от Святых Тайн, пока вы не познали волю Божию.

Нужно, чтобы сами вы захотели их, чтобы воля исходила от вас или, вернее, от Него. Не сомневайтесь, недолго ждать, вы ощутите жажду покаяния, алкание Евхаристии и, не будучи в силах долее терпеть, взовете о прощении, будете умолять о допущении к Святой Трапезе. Тогда мы обсудим, какой всего лучше избрать нам способ вашего спасения.

– Мне кажется, что есть всего лишь один способ: исповедаться и причащаться...

– Конечно, вы не поняли меня, но видите ли...

Священник запнулся, ища слов.

– Не сомневаюсь, – продолжал он, – что искусство – главное орудие, которым воспользовался Спаситель, чтобы напитать вас верой. Он уловил вашу слабую или, если хотите, сильную сторону. Он пленил вас дивными произведениями мистики. Он убедил и обратил вас скорее чувствами, чем разумом. И нельзя не считаться с этими особыми условиями. С другой стороны, вы не обладаете душой смиренной, душой простосердечной. Вы, словно мимоза, закроетесь от малейшей неосторожности, малейшей неловкости исповедника. Чтобы оберечь вашу впечатлительность, необходимы известные предосторожности. Слишком малого довольно, чтобы отклонить вас с пути, теперь, когда вы так немощны, так слабы. Достаточно неприятного облика, неудачного слова, противной обстановки, ничтожнейшего пустяка... Правда?

– Увы! – вздохнул Дюрталь. – Я должен сознаться, что вы правы. Но мне кажется, аббат, что я могу не бояться этих разочарований, если вы позволите мне исповедаться у вас, когда убедитесь, что наконец пришел желанный час.

Помолчав, священник ответил:

²⁷ Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой (*лат.*).

– Несомненно, раз я встретил вас, это означает, что моя задача помочь вам. Но я полагаю, что моя роль ограничится указанием вашего пути. Я буду для вас связующим звеном, и только. Вы кончите, как начали, без чужой помощи, один, – и аббат мечтательно задумался, потом покачал головой, – впрочем, оставим это. Не нам гадать о путях Господних. Итак, я подвожу итог. Старайтесь молитвой заглушить взрывы вашей плоти. Сейчас главный вопрос в напряжении всех ваших сил к борьбе и не так уже важно, если вам не удастся одерживать победы. – Заметив, как огорчился Дюрталь, священник одобрительно прибавил: – Не отчаивайтесь, если будете падать. Не выпускайте оружия из рук. Не забывайте, что сладострастье не есть грех самый тягчайший, что оно одно из тех двух прегрешений, которые тварь человеческая оплачивает наличными и которые искупаются хотя бы отчасти еще до смерти. Помните, что любострастие и корыстолюбие ничего не отпускают в долг, не дают никакой отсрочки. Еще при жизни наказываются, по большей части, люди впадающие в грех плоти. Одни обречены воспитывать незаконных детей, других ожидают немощные женщины, пошлые связи, разбитая жизнь, бесстыдный обман любимых. Страдание несет всякая связь с женщиной, в лице которой горчайшее орудие скорби ниспослал человеку Господь! К одинаковым последствиям ведет стяжание. Всякий человек, предавшийся этому постыдному греху, обычно заглаживает его до смерти. Помните хотя бы Панаму. Кухарки, привратники, мелкие рантье, до того времени жившие мирно, не искавшие чрезмерной прибыли, недозволенного барыша, как безумцы, бросились на предприятие. Нажива стала их единой мыслью. Кара сребролюбия, как вы знаете, не заставила себя долго ждать!

– Да, – отвечал Дюрталь смеясь, – выходит, что Лессепсы творили волю Провидения, похищая накопления жирных мешан, которые, тоже стяжали их, вероятно, не без кражи!

– Я заканчиваю, – продолжал аббат, – не спешите падать духом, поддавшись искушению. Не торопитесь презирать себя. Согрешив, имейте мужество войти в храм. Демон вас сковывает вашей трусостью. Нашептывает вам ложный стыд, ложное смирение, и они до известной степени питают, хранят, укрепляют ваше сладострастие. До свиданья, возвращайтесь поскорее.

Слегка ошеломленный, собирался Дюрталь с мыслями на улице. «Очевидно, – думал он, – аббат Жеврезе – искусный часовщик души. Он умело разобрал движение моих страстей, извлек звоны праздности и скуки. Но в общем все советы его сводятся к одному: варитесь в собственном соку и ждите. Пожалуй, он прав: будь я у черты, я пришел бы к нему не болтать, а исповедаться. Странно, что аббат, по-видимому, совсем не расположен сам вести меня к омовению. К кому же он думает меня направить? К первому встречному, который выложит мне ворох общих мест и, плохо постигая, разбередит меня грубыми руками. Все это... все это... Сколько, однако, часов? – Он посмотрел на часы, – шесть, я не настроен идти домой, чем заняться до обеда?»

Он находился близ Сен-Сюльпис. «Зайду посидеть, привести в порядок свои мысли». И Дюрталь направился в придел Богоматери, в котором почти никого не бывало в этот час.

Не чувствуя никакого влечения к молитве, он сидел, созерцая обширную ротонду из мрамора и позолоты, театральную сцену, на которой показывается изображение Богородицы верующим, как бы исходящее из декоративного грота, на перламутровых облаках.

Тем временем вошли две юные сестры, близ него опустили на колени и в молитвенном отрешении закрыли голову руками.

Он смотрел на них, отдавшись туманным думам: как счастливы души, которым доступно это самозабвение молитвы и чем достичь его, откуда взять сил для восславления хваленого милосердия Божия, когда вспомнишь о мировом горе? Можно верить в существование Его, не сомневаться в Его благодати, и человек, однако, в сущности, не знает Его и не постигает. Он вездесущ, вечен, недосягаем. Не знают люди, каков Он есть, и в лучшем случае познают, каков Он не есть. Попытайтесь вообразить Его, и сейчас же возмутится здравый смысл, так как Он превышает каждого из нас, живет внутри и вовне. Он тройственен и един. Он безначален и бес-

конечен. Непостижим присно и навеки. Когда тщатся изобразить Его, наделить человеческою оболочкой, то неизбежно приходят к простодушному восприятию первых веков. Рисуют его в очертаниях человеческого облика каким-то престарелым итальянским натурщиком, наподобие Тургенева с окладистой бородой. И нельзя удержаться от улыбки, до того кажется ребяческим это изображение Бога Отца!

Он до такой степени парит над человеческим воображением, превосходит наши чувства что, быть может, имя Его остается лишь молитвенным звуком, и главным образом к Сыну устремляются порывы человечества. Призывам доступен лишь Бог Сын, принявший образ человеческий, уподобившийся нашему старшему брату, скорбевший в плену человеческой телесности; Его мыслим мы милосердным, надеемся, что Он сжалится над нашей мукой.

Третье лицо смущает ум наш еще сильнее Первого. Оно пример непознаваемого. Как вообразить этого Бога Бесплотного, эту Ипостась, равную двум другим, как источающим Ее? Ее мыслят, как свет, как эфир, как дыхание, и Ее нельзя облечь даже мужским ликом, потому что в своих двух телесных воплощениях Она нисходила в виде голубя и огненных языков, и видимости эти столь различны, что не дают нам ни малейшего намека судить об очертаниях, которые Он примет в своем новом появлении!

Нет, бесспорно, Троица устрашает... Она – само чудо. Прав был Рейсбрюк Живительный, когда писал:

«Пусть знают ищущие познать Бога и исследовать Его, что на это положен запрет. Они обезумеют».

Да, правы, решил он, смотря на двух маленьких сестер, перебиравших четки, эти милые девушки, что не ищут постижения сущего и без долгих дум молятся от всего сердца Богоматери и Сыну.

Из всех Житий Святых, ими прочитанных, они убедились, что лишь Иисус и Мария являлись избранникам Божиим, принося им утешение и подкрепление.

О чем же я, в сущности, думаю? Разве молить Сына не значит в то же время молить двух других? Три лица едины, и, молясь одному из них, человек молится всем трем! И однако Ипостаси особы, так как если сама по себе божественная сущность едина и проста, то проявляется она в отдельности трех Лиц... Но раз навсегда, зачем исследовать непостижимое?

«Пусть так, – размышлял он, вспоминая свое недавнее свидание с аббатом. – Но чем кончится все это? Если аббат понял верно, то я не принадлежу уже более себе. Я стою на пороге неизвестности, и она страшит меня. Если б замолкли только прихоти моих пороков!.. Но нет, не уйти мне от яростных приливов плоти. Ах! Эта Флоранс!.. – И он задумался о продажной женщине, пленившей его своею извращенностью. – Попржнему разгуливает она в моем мозгу. Раздевается за опущенным занавесом моего взора, и я отдаюсь позорной слабости, когда думаю о ней».

Еще раз пытался он отогнать ее видение, но она смеялась пред ним, распростертая и нагая, и его волю распалало одно стремление к ней.

Он презирал и даже ненавидел ее, и однако его дурманил ее безумный бред. Пресыщенный ею и собой, расставаясь с ней, клялся, что не вернется, и, однако, возвращался, сознавая, что после нее покажутся скучными все остальные. Грустно вспоминал он женщин изысканнее, обаятельнее Флоранс, женщин страстных, вождедеющих; но по сравнению с этой блудницей, беззастенчиво чарующей, все остальные, казалось, походили на бесцветные букеты, издавали бледный аромат!

Чем больше раздумывал он, тем сильнее убеждался, что некоторые из них не в состоянии дать такого блаженного бесстыдства, изготовить таких едких яств.

Ему грезилось, как она протягивает свой рот, простирает руку, готовая схватить.

Дюрталь отпрянул.

– Какой срам! – воскликнул он.

Но сон не исчез, и блудница воплотилась в одну из сестер, нежный профиль которой обрисовывался перед его глазами.

Закрыв глаза, медленно, с перерывами, смакуя, раздевал ее, и под бедной одеждой чувствовал знакомые формы Флоранс.

Вдруг встрепенулся, вернулся к действительности, увидел себя в Сен-Сюльпис, в церкви. «Что за мерзость осквернять храм своими уродливыми призраками! Нет, лучше уйти».

Он вышел, потеряв голову.

«Последнее время я не преступаю целомудрия, уж не потому ли разбушевалась моя страсть? А что, если пойти к Флоранс и, до пресыщения упившись ее телом, разрушить у нее все оковы моего мозга, все покушения моих нервов, победить желания, умертвить раз навсегда чары ее плоти!»

Но тут же он должен был сознаться в неразумности своего замысла. Разве не знал он по опыту, что распутство неистощимо, и что сладострастие тем ненасытнее, чем более его питать.

«Нет, аббат прав. Задача моя – обрести и хранить целомудрие. Но как? Молиться? Разве возможно это, если нагие женщины осаждают меня даже в храмах?»

Непотребство не покидало меня на улице Глясьер. Здесь оно преследует и душит меня вновь. Чем защищаться? Но как ужасно это одиночество, когда нет никакой опоры, когда не знаешь ничего, чувствуя, как падают в безмолвную пустоту исторгнутые молитвы, и ни жеста в ответ, ни слова ободрения, ни единого знака! О, если б знать, здесь ли Он, внимает ли тебе! Аббат хочет, что бы я ожидал указаний велений свыше! Но увы! Пока я получаю их лишь снизу!»

VI

Протекло несколько месяцев. По-прежнему жил Дюрталь в чередовании развратных дум с благочестивыми помыслами, не имея сил бороться, покорно плывя по течению.

– Как все это туманно! – яростно воскликнул он, подводя однажды итоги, бесстрастный менее обычного. – Объясните мне, что это значит, аббат? Мои религиозные порывы бледнеют всякий раз, как ослабевает моя похоть.

– Это означает, что ваш противник раскинул вам свои сокровеннейшие сети, – ответил священник. – Он стремится внушить вам, что вы ничего не достигнете, не погрузившись в бесстыднейшее распутство, старается убедить вас, что к Господу ничто не может привести вас, кроме пресыщенного отвращения к утехам сладострастия. Он подстрекает вас предаться им, чтобы тем ускорить свое освобождение. Под предлогом охраны от греха, он вас вводит в него. Будьте тверже, пренебрегите этими софизмами, отвергните его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.